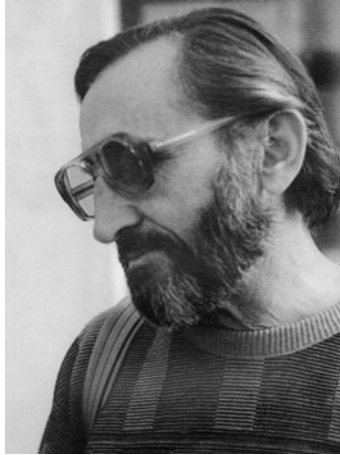


ЮРИЙ УБОГИЙ



РУСЬ ПОДНЕБЕСНАЯ

ПОВЕСТЬ

1

Волшебное слово — дорога! Что только ни заключено в нём: и радость, и бодрость, и утешение, и надежда. И как часто, в тяжёлую пору жизни, он обращался к ней как к последнему средству уцелеть, спастись, и она помогала, выручала, вывозила его. А ещё чаще подарки делала неожиданные, которые ни от чего, ни от кого было не получить: мысль важнейшую, чувство утешительное, картину природы роскошную, песню ямщицкую, раздольную...

Бричку толкнуло так сильно, что Арнольди выругался, а Гоголь рассмеялся. Она ж этим была хороша, дорога — тряской да толчками и в спину, и в плечи, и в самую грудь. Иногда казалось даже, что от этого организм его болезненный здоровеет и крепнет...

— Что, Лев Иванович, не любо?

— Признаюсь, нет. А вам, Николай Васильевич, никак, по душе?

— И по телу тоже, и по телу! Говорят же, если человек закис, то встряхнуться надо. Вот дорога это и делает.

— Так ведь я не закис, незачем и встряхиваться.

— Закис, закис, мне виднее! Как не закиснуть, чиновником будучи, в двадцать семь лет. Вам, по натуре вашей, не портфельчик под мышкой надо носить, а на коне скакать, сабелькой помахивать!

УБОГИЙ Юрий Васильевич родился в 1940 году в селе Красная Поляна Курской области. Окончил Воронежский медицинский институт и Высшие литературные курсы. Более 20 лет работал психиатром и психотерапевтом. В "Нашем современнике" публикуется с 1978 г. Автор 12 книг прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Калуге

— Николай Васильевич... — протянул Арнольди с укоризной. — Не вам бы говорить такое. Вы свой портфель из рук не выпускаете, а на ночлеге под подушку кладёте. Да и стульев отнюдь не чураетесь, по-моему.

— В вашем портфеле, дражайший Лев Иванович, бумаги всего лишь казённые, а в моём-то мои кровные, всё достояние моё. Разница, согласитесь, немалая! И со стульями вы маху дали. Работаю я, за конторкой стоя, лишь отдохнуть или почитать сажусь...

Славный какой этот Арнольди, подумал Гоголь. И Александру Осиповну чем-то напоминает, а ведь сводный брат всего-навсего, связь только по корням итальянским да по детству малороссийскому. Лёгкий человек, в спутники как раз хорош. Да и в Калуге поблизости будет, свой в доме Смирновых вполне. И про дела теперешние, канцелярские, порасспросить его можно, чиновник по особым поручениям при губернаторе, как-никак. Место бойкое, многое должен знать и видеть. Со времени собственной службы недолгой двадцать почти лет прошло, принесло перемены. Служба-то недолгая, а сколько на её опыте о чиновниках написано! И “Души”, и “Шинель”, и “Ревизор”, и другое многое. Опыт — опытом, но в основном-то от угадывания, от озарения мгновенного всегда шёл. Виделось вдруг — вот так именно всё быть должно, не иначе... Ну, а совсем без опыта личного смог бы всё это написать? Трудный вопрос. “Тараса Бульбу”-то создал, а какой тут мог быть опыт? Хотя это вещь иная, особенная, эпос героический, чистого воображения плод...

Солнце припекло с такой силой, что Гоголь улыбнулся, довольный. Зябок стал, внутренне тепло не хватает всё больше, так хоть внешнее подай. И в Риме просидел так долго из-за того же тепла и воздуха благоуханного. Не первая причина, конечно, а и не последняя. Вытекает из тела тепло с каждым годом, и чудится порой, что это жизнь сама...

Вокруг разворачивались, кружились леса, залитые солнцем. Другими они выглядели, когда в двадцать восьмом году, в декабре в Петербург впервые ехал. Чёрными были да мокрыми, белым кое-где чуть тронутыми. А мёрз как с непривычки! Вспомнить, и то неприятно. И Петербург холодом да сыростью больше всего мучил поначалу. Пушкин, помнится, на то же самое жаловался. Южные люди, что делать будешь! Он-то уж совсем частью крови из самого пекла африканского. Но ведь и зиму любил и воспевал! Как жарко поцелуй пылает на морозе... На всё его хватало, силу имел необъятную.

Да, июля начало. Раннее лето кончилось, полуденное началось. И день времени под стать: просторный, влажновато-жаркий, с громадами белых облаков. Облака сдвигаются понемногу, дождь, частый в эту пору, тёплый и короткий. А вот и ещё признак лета полдневного: алые островки иван-чая в стороне от дороги. Расширяться будут, расти, а потом, мало-помалу, и белеть, сесть эдакими колечками-кудрями... Странная вещь: что ни увидишь перед собой радостного, молодого, весёлого, грустнеть оно начинает в собственных глазах, стареть как бы, печалью подёргиваться. Вот “Сорочинская ярмарка” хотя бы, первая повесть, в первой книге.

Какое начало бодрое: “Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!” И дальше в том же духе и так хорошо, что и сам восхитился, написавши. А конец? “Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу и нечем помочь ему”. Вся-то вещь куда как весела, с озорной бесовщиной невинной, с благополучным для всех завершением, так почему ж ты самый конец таким сделал? Из груди просто выдохнулось, иного нет ответа. Так уж устроен — начинать за здоровье, а кончать чаще всего за упокой... Второй том “Душ” непременно надо “за здоровье” суметь закончить. И ведь написал вчерне, а в сорок пятом, в Вене, сжёг. Так болен был, что к близкой, вот-вот, смерти готовился, завещание нацарапал, священника для причастия пригласил. Чувствовал, что уходит жизнь с каждым днём, с каждым часом, с каждой даже минутой. Руки холодеют, ноги, лицо сине-зелёным делается... Взялся рукопись перечитывать, чтобы в последний раз посмотреть, что после себя оставляет, и в ужас пришёл. Плохо, плохо! Пусто, холодно, мертво... Слова, слова одни, из усталой, измученной головы насильно добытые. Нельзя было это оставлять, имя своё этим замарывать. Решился-таки,

сжѣг, а уж как страшно, тяжело было! Труд четырёхлетний, неуспешный, упорный, всего целиком поглощавший, лежал перед ним в камине толстой пачкой исписанной бумаги, медленно начинавшей тлеть по краям. Так и стоит это перед глазами до сих пор: бумага рыжеет, коробится, синие язычки пламени выталкивает из себя. А вот и занимается весь лист верхний, и строчки на нём вдруг по-особому ясно проступают. И нестерпимо хочется то ли сбить пламя каминными щипцами, то ли живой рукой рукопись из огня выхватить... Ужасное было борение душевное, сознание едва не потерял... А может, это не душа его сама с собой боролась, а Бог и дьявол в ней? Когда же совершил дело тяжчайшее, сжѣг, то почувствовал, что и сам, в сущности, уже умер... А вышло как раз наоборот — после сна долгого первое облегчение испытал. И понял, что это Бог его к сожжению подвиг и возможность дальнейшей жизни и работы даровал. Так и оказалось — пошёл на поправку, а там и за работу заново взялся... Сейчас-то далеко её продвинул, девять глав готово и отделано почти. Читает самым близким людям, мнения их выслушивает, поправляет кое-что. И дальше работу двигает, конечно. Важнейшее для него на очереди дело — Россию теперешнюю порассмотреть, поизучать. Что он видел во многие годы последние? В Риме сидел да колесил по Европе, покой душевный, ускользающий постоянно ловил. А в редкие, недолгие приезды в Россию среди литературной братии толочка да ездил однообразно по одному пути: Петербург—Москва—Васильевка и назад. Даже в прошлогдную, первую в жизни, поездку в Иерусалим казалось, что была она уже у него и лишь повторяется. Как ни люби дорогу, а теперь, для продолжения второго тома, надобно притормозить, с людьми новыми потеснее пообщаться. Потому приглашение Александры куда как кстати пришло. Губернию нам теперь подавай со всеми её потрохами, посмотрим, что там и как... А за Калугой и другое маячит, Волга, главное. Жила России станова! Города какие на ней: Ярославль, Кострома, Нижний, Казань, Астрахань... Вот куда бы ещё проездиться! А там недалече и Урал, хребет спинной российский, а там и Сибирь. Ежели по такому простору с толком и расстановкой поездить, посмотреть, то не может второй том не получиться. Пушкин, кстати, куда по России не ездил, где не бывал! Вот и учись у него, как и во всём остальном учился и учишься...

Дорогу впереди переходили две крестьянские девчонки с кузовками в руках. Землянику собирают, скорей всего, решил Гоголь. И так мучительно остро захотелось вдруг ему вкус и запах её ощутить, совсем особенный, неизъяснимо приятный. Символ лета, как и медовый дух белой и розовой кашки вдоль дороги. Пока подъезжали к девчонкам, останавливались, окликали их, Гоголь успел вспомнить свою девчонку, из “Мёртвых душ”. Чудная вышла девчонка! И ноги у неё были так высоко и густо вымазаны грязью, что напоминали сапоги, и не знала она, где право, а где лево, и Селифан сказал ей вслед почти ласково: “Эх ты, черноногая!” Вот и спроси у этих, живых, настоящих, понимают ли, где право, а где лево, усмехнулся он про себя. Раз пустился теперешнюю Россию подробно узнавать, то никакого случая не упускай. Девчонки? Подавай нам и девчонок!

А они, стоявшие у края дороги с полуоткрытыми ртами, оказались очень хороши, когда Гоголь подошёл к ним вплотную. Одна худенькая, чёрненькая, а другая беленькая, толстощёкая и голубоглазая.

— Вы откуда, девицы? — спросил Гоголь.

Девчонки переглянулись и промолчали.

— Вот ты где живёшь? — поймал он взгляд худенькой.

— В Вечности.

Гоголь опешил. Шутки, да ещё такой, от крестьянской десятилетней девчонки он никак не мог ожидать, вранья тоже. Значит, так оно и есть — в Вечности*.

— А ты? — на всякий случай спросил он толстощёкую. — Ты тоже в Вечности?

— Ага, в деревне в нашей, — пробормотала та.

* Деревня с таким названием существует.

— Ох, как вам повезло, девоньки! — Он даже чуть замычал от удовольствия. — Жить в Вечности, это ж как в раю.

— Рай только на небе бывает, — сказала толстощёкая.

— А вы знаете, что такое вечность? — спросил он и почувствовал нелепость своего вопроса...

— Вечность, это когда всё было всегда, — сказала худенькая.

— Вот так-так! — восхитился Гоголь. — Лучше и не скажешь! Землянику, стало быть, собираете?

— Она отошла уж почти. В самой сырости есть немножко. Мы барыне её относим, она грошик даёт.

— А мне можете продать?

— Тут всего ничего, две горсти...

— Вот и как раз. В лопушок и пересыплем...

Кладя монету на измазанную земляничкой ладонку худенькой девчонки, Гоголь сказал:

— Про вечность ты отлично понимаешь, а вот где будет лево, а где право, можешь сказать?

— Вот лево, вот право! — ответила та, поочерёдно поднимая руки.

— Молодец. Что ж, спасибо за угощение!

Арнольди встретил его улыбкой.

— Что, Николай Васильевич, урок какой-нибудь преподали барышням-крестьянкам? По старой памяти, как адъюнкт-профессор?

— Скорее они мне. Что такое вечность, объяснили. Могу поделиться, если интересуетесь?

— Сделайте милость.

— Вечность, как сказала вон та, худенькая, это когда всё было всегда...

Весёлое лицо Арнольди стало вдруг серьёзным.

— Так и сказала? Ну, надо же!

— Ум дело природное, дорогой Лев Иванович, от образования и возраста не очень-то и зависит. А о вечности мы заговорили по причине вполне житейской. В деревне с названием Вечность эти барышни живут.

— Так и это поразительно. Деревня Вечность, чудо какое!

— На Руси в названиях, да фамилиях, да прозвищах чего только не встретишь, а в Малороссии и того похлеще. Иногда кажется, что бы ни придумал ум самый игривый и изощрённый, а оно уже и в жизни есть... Угощайтесь, это в некотором смысле от вечности нам с вами подарок.

Арнольди от ягод отказался, а Гоголь съел с наслаждением все до единой, сам на себя удивляясь: безгливый, опасливый привереда, и такое ест! Может, потому, что увидел в землянике этой от России, от земли калужской добрый, приветственный знак?

Погода менялась исподволь, и в конце концов на небе вместо белых облачных громад образовался серенький, однообразный полог. Гоголю жаль было терять жар и свет солнца, яркость и резкость красок, к которым он с детства привык в своей Малороссии, но и новая погода, такая русская, была ему мила, навевая одиночество, вызывая в памяти былое, давнее.

...Обоз чумаков проезжает мимо, и он не отрывает взгляд от волов, медленно идущих с мерной, упорной, угрожающей какой-то неотвратимостью; от возов, тяжело скрипящих под грузом соли, от самих чумаков с их шапками мохнатыми, лицами загадочными... Обоз появился и пропал, а тревога, возникшая в душе, остаётся. Откуда всё это взялось и куда, зачем исчезло? Он отходит от дороги в степь, ложится, прикидывает ухом к земле, у неё надеясь отгадать тайну. И, кажется, слышит отголоски её, гул, шум, звон железный, воинственный, обрывки песен, крики то жалобные, то грозные...

Часто в ту пору детскую его окликал кто-то по имени то сбоку, то сзади. Осмотрится — нет никого. И становилось страшно и от оклика неведомого, и от пустоты вокруг. А ещё и понять хотелось мучительно, кому и зачем он нужен? Кто такой зовущий, где скрывается и почему? И что он, Николаша, Гоголь маленький, сделать должен, чем ответить на зов?

С годами оклики прекратились, а вот чувство, что он должен, обязан что-то сделать, отозваться на те зовы таинственные, давние, живёт в душе

до сих пор, то ослабевая, исчезая почти, то усиливаясь до явственной тревоги. И заглушается, утешается тревога только одним — работой. Значит, работы от него и хотел тот неведомый, зовущий...

Ещё воспоминание, приходящее хоть и редко, но неизменно. Кошка... Один в гостиной, вечер поздний и тишина, от которой страшно. Потом бой часов, и что-то надвигается и уходит куда-то. Потом мяуканье, и кошка идёт, потягиваясь, и зелёные глаза её искрятся злым светом... Ужас заставил схватить её, добежать до пруда по парку и бросить в лунный след. Кошка барахталась, к берегу плыла, а он отталкивал и отталкивал её палкой, пока не сомкнулась над ней вода... И тогда стало ещё ужаснее, показалось, что утопил человека. Рыдал потом на полу от жалости к кошке, от жалости к себе... Тут же и отцу во всём признался. А как тот выпорол его нещадно, так стало и легче... А чувство греха великого, вспыхнувшее тогда, до сих пор в душе тлеет. И мысль о возмездии неотвратимом — хоть на земле, хоть на небе... Вот если приходит это воспоминание, то унимать его приходится молитвой долгой, покаянной, а потом работой до крайней усталости...

Работа всегда и во всём спасает. Она же и в гимназии спасла, из отверженности, из позора вынесла. Был предметом вечных насмешек и шпыняний, и прозвище ему было “Карла Задумчивый”. Терпел да озлоблялся, озлоблялся да терпел. А как в театре гимназическом стал играть — вмиг всё изменилось. Лучшим актёром комическим был признан, уважение тем всеобщее снискал и почувствовал себя совсем другим человеком, который такое может, что другим не дано. Актёрство его тогдашнее ведь тоже работа была, да и важная. В ней зародыш “Ревизора” и “Женитьбы” лежит.

Работа... Одна она и есть в его жизни, как же тут портфель с ней не беречь, к себе не прижимать! Тут его в сё — и настоящее, и будущее. И посмертное даже.

Трудно теперь представить, но ведь первое, что сделал, едва в Петербурге появившись юнцом желторотым, — к Пушкину пошёл. Чужая, угадывала душа, что тот главной его надеждой и опорой будет на годы многие, даже и после смерти, до сих пор: маяком, путь указующим, учителем мудрейшим из мудрых. Подошёл тогда к дверям Демутного трактира на Мойке, оробел вдруг до слабости в ногах, забежал в кондитерскую рядом, выпил рюмку ликёра для храбрости. То ли ликёр помог, то ли собственные собрал силёнки, но до слуги добрался-таки. Узнал, что “почивают”. “Верно, работал всю ночь?” — спросил робко. “Где там работал, — фыркнул слуга. — В картишки играл”. Это порыв его и придержало, и знакомство отодвинуло надолго. Осознал вдруг вполне, что Пушкин не только поэт великий, но и просто человек к тому же. И лезть к человеку незнакомому вот так вот, с улицы, никак нельзя...

Одиночество в Петербурге более всего оглушило. Открыл, что, чем больше вокруг людей, тем более ты и одинок, пустыня прямо-таки вокруг лежала людская. И ведь франтить пытался на первых порах, жилетки да галстуки яркие покупал, разгуливал по Невскому проспекту вот именно что гоголем. А, погуляв, рубли последние пересчитывал, не зная толком, что будет есть через неделю. Потом служба писцом в департаменте подвернулась, пустая, холодная, страшная. И департамент, чиновниками набитый, всё той же пустыней показался. Отдыхал душой лишь по ночам, в комнатёнке сырой, “Вечера” свои начав писать. Это только и бодрило, и крепило дух...

Когда появился отзыв Пушкина, дыхание от восторга прервалось: “Прочёл “Вечера близ Диканьки”. Они изумили меня. Вот настоящая весёлость, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность!” Прочитал и перекрестился. Почувствовал, что с этого момента вся жизнь его навсегда определена. Одна только лежала теперь перед ним дорога — писать...

* * *

Бричку вдруг перекосило так резко, что француз-учитель, спутник Арнольди, испуганно закричал. Гоголь расхохотался и на крик, и на лицо его ошеломлённое, и почувствовал неловкость...

— Простите, мсье Эмиль! Смешлив иногда бываю, что поделаешь?
— О, что вы, господин Гоголь! — воскликнул француз. — Как я могу претензию иметь? Смейтесь себе на здоровье! Вы ведь велики! смех в своих книгах имеете, как же вам не смеяться? Великий юмор, да...
— Юмористы часто бывают люди мрачные, — сказал Арнольди.
— Но изредка можно и нам повеселиться, а, Лев Иванович? — проговорил Гоголь смиренно.
— Да я просто счастлив бываю, когда вы веселы и смешливы, как сегодня. Всегда бы так!
— Всегда не получается. Да и нельзя, грешно...
— Какой же тут грех?
— Ещё какой! Смех ведь не только добродушен бывает, а и ехиден, и язвитель, и глумлив, и злобен...
— Я от вас только добродушный слышал.
— Дорога моя любимая так настраивает. Хорошо бы до Калуги это удерживать.
— И в ней!
— И в ней! — согласно кивнул Гоголь и повернулся к французу. — Как вам в России живётся, мсье Эмиль?
— По-всякому, господин Гоголь. Хорошие господа — это хорошо, плохие дороги — это плохо. Русская зима — плохо, русская еда — хорошо...
— Домой вернуться хотите?
— О, конечно, да!

Если бы ты мог на такой вопрос с таким же жаром ответить, подумал Гоголь. Ведь любишь же Россию, да её одну, пожалуй, и любишь на свете по-настоящему, а жить в ней мочи нет. Заглянешь ненадолго, да и опять в Рим свой любезный, чтобы в нём издали о России вспоминать, думать и писать. Может, этот приезд поосновательнее окажется? Цель есть важнейшая — теперешнюю Россию пощупать, понюхать, новое в ней разглядеть, то, чего раньше не замечал. Раньше лишь черты её приземлённые видел и описывал, а теперь высокие, высшие надо различить. Есть же они в России, в замысле Божьем о ней, должны быть! Вот такой высокий, небесный облик, образ России угадать и выразить — задача великая...

Пасмурность и дождик мельчайший, как водяная пыль, исчезли, словно их и не бывало. Вновь солнце светило и пекло, и всё вокруг блестело ярко, влажно, сочно. Гоголь почувствовал, что душа его в этот мир роскошный, сияющий поворачивается, не хочет больше сама в себе быть.

Впереди появилось большое село, которое разноцветно пестрело и желтизной соломенных крыш, и стёклами искрящихся на солнце окон, и подсолнухами в огородах, и зеленью матёрых берёз с чёрно-белыми стволами. Яркость всего этого была для Гоголя и приятна, и необычна. А потому и необычна, подумал он, что у тебя сёла русские написаны серой, однообразной краской: серые избы на серой земле да под серым небом. Перебрал с этим в первом томе “Душ”, во втором исправляться надо. Вот же оно сейчас какое, русское село, как жар на солнце горит, не хуже твоего кровного, малоросского! Да и народишко не так уж сер, как часто было писано: вон и мужик в красной рубахе, вон и баба в панёве синей.

Выехали на выгон в середине села. По сторонам его напротив друг друга стояли две деревянные церкви, совершенно одинаковые и по размерам, и по архитектуре. Одна была старая, хоть и крепкая вполне на вид, а другая новенькая, с иголки. Вокруг неё валялся во множестве строительный мусор.

— Сколько церквей? — спросил Гоголь Арнольди.

— Две, Николай Васильевич.

— Слава Богу! А я уж решил, что глаза мне изменяют или даже сама голова. Давайте-ка узнаем, что за притча такая? Вон и плотники, кстати...

Плотников оказалось трое: сухонький, горбатенький старичок со складной меркой в руке и карандашом за ухом, здоровенный мужичина с рыжей, по грудь, бородой и молодой парень, кровь с молоком. Они горячо обсуждали что-то, размахивая руками, и дружно поклонились подошедшему Гоголю. В ответ он приподнял свою светло-серую шляпу.

— Бог помочь!
— Спасибо, барин!
— Что, взамен старой новую церковку выставили?
— Кой там взамен! — воскликнул старик. — Та ещё годов сто простоят, не охнет.
— Так новая-то тогда зачем?
— О-о-о! — старик с важностью повёл пальцем. — Тут, братец ты мой, дело мудрёное...

— Так и объясни, если можешь.

Старик помолчал, потом крякнул и крепко вытер лысину ладонью.

— Ладно, оно и не секрет, вся округа досконально знает. Тут, понимаешь ты, два брата, Степан Иваныч да Тихон Иваныч, селом напололам владают. И церква у них, понятно, одна на двоих была, вон та, Ивана Воина прозывается. Один-то брат вояка, из гусарей, а второй вроде как секретарь какой-то был в уезде. Ну, недавно сюда и заявили на вольное житьё оба-два, служба у них, стало быть, кончилась. Тут-то загвоздка и вышла. Старший, Тихон который, говорит, не хочу я больше в церкви Ивана Воина молиться. Я, говорит, первой всего Богородицу почитаю, она всей России покров даёт и защиту. Ну, вот и поставили ему новую, Рождества Пресвятой Богородицы название...

— И как же они между собой, братья, живут?

— Разругались насмерть, даже выгон канавой перегородили напололам, вон, где бурьян полоской...

— Ах, как хорошо! — восхитился Гоголь.

— Да что ж хорошего, Николай Васильевич? — спросил Арнольди с недоумением. — Это же ваши незабываемые Иван Иванович и Иван Никифорович, точь-в-точь.

— А вот и нет! Тут же совсем иное, поймите! Не из-за слова “гусак”, не из-за хлеба гусяного ссора. Не о чём-нибудь, о вере речь... Спасибо тебе, старина, за рассказ, за новость такую славную.

— Не на чем, барин, — пробормотал старик. — Новость, оно точно, интересная. Кто ни узнает, все довольные бывают...

— Да вы тут уже и кончили всё, — сказал Гоголь, любуясь на церковь, — стройна, голубушка, да мила!

— Церква справная, — согласился старик спокойно. — Крест единый осталось поставить, да вот тут затычка у нас и вышла.

— Что ж такое?

— А то, что дело рискованное. Я вот по молодости полез и хребтину себе попортил. — Старик хлопнул ладонью по горбу. — А бывает и того хуже... Потому я всегда добровольного человека вызываю, чтоб сам решился. А они, вот они, упёрлись и ни в какую. — Он показал на плотников. — Долдонят одно — приказывай! Как скажешь, мол, так и будет. А мне тоже не сладко грех на душу брать, вдруг что такое... Да и выбери, попробуй! У одного ребятишек куча целая, а у другого у самого молоко не обсохло... Видно, жребий бросать, не миновать. Пусть будет, как Бог укажет...

Уже из коляски Гоголь оглянулся на церковь, и так прекрасна она была, светлая, на фоне голубого неба! И мужики-плотники были хороши, чёрные на светлом... Вспомнился вдруг Степан Пробка, плотник из списка мёртвых душ, над которым размышляет Чичиков в первом томе. Вдохновенное вышло место, из-за подобных мест и всю вещь поэмой решился назвать... Писалось горячо и в память въелось накрепко: “Богатырь Степан, что и в гвардию годился бы... Чай, все губернии исходил: с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушёной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал домой целювиков по сту, а то и государственную зашивал в штаны. Где тебя прибрало? Взмоглись ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись, шлёпнулся оттуда оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукой в затылке, промолвил: “Эх, Стёпа, угораздило тебя!” — а сам, подвязавшись верёвкою, полез на твоё место...” А потом в списке Григорий Дозжай-не-доедешь следует: “Уходили ли тебя приятели за какую-нибудь крас-

нощёкую солдатку или сам заворотил из кабака прямо в прорубь, и поминай как звали...” Писалось-то всё это с вдохновением, восторгом истинным, а что тут, по сути, хорошего? Гибель одна... Что ж, и в гибели есть упоение и восторг, о том у Пушкина в “Пире во время чумы” куда как гениально сказано... А вот скоро плотники здешние жребий будут кидать, хорошо это? Хорошо вполне, правильно, только вот с восторгом про жребий вряд ли напишешь...

* * *

В Малом Ярославце задержались. Городок был очень неплох для уездного и славен победной битвой с Наполеоном.

Когда подошли к воротам Черноостровского монастыря, то увидели над ними лик Спасителя, а вокруг густо посеянные щербинки от картечи. И ни одна лика Божьего не тронула, ни одна! Чудо, подумал Гоголь. Вспомнилось, что и Пушкин не раз здесь проезжал и, уж конечно, посетил это место, не мог не посетить. А вот подумал ли о чуде? Подумал, скорей всего, потому что вера к концу жизни всё очевиднее в нём крепла. Прямых разговоров об этом не было, но Гоголь не раз чувствовал с радостью — верит, верит! И самому от этого становилось как-то надёжней и теплей.

Да, стоял он здесь и, конечно, про Наполеона тоже вспомнил, поразмыслил. Как? А так же, примерно, как и ты сам. Велик был, но и ничтожен перед Богом и вечностью...

Вспомнилось, что Наполеон мелькнул-таки у него в первом томе “Душ”. Кто-то из чиновников вдруг предполагает — не есть ли Чичиков переодетый Наполеон? Когда написалось такое, с кончика пера сорвалось, даже расхохотался, довольный. Дикое какое совмещение, ошеломительное просто! А подумаешь поглубже, то и смысл некий увидишь. В поэме Чичиков ведь приобретателем назван, но от того же самого он и завоеватель, только по-своему, без войны, без пальбы. Завоевывает втайне свой кусочек мира потихоньку-полегоньку. А если тысячи Чичиковых в мир придут? Вот весь и завоюют, да так, что самому Наполеону не снилось...

Пушкин “Наполеона” написал и высоко его в том стихотворении поднял. Великий человек, властитель мира! А ты смог бы похужее написать? Нет и нет! Чуждо душе такое величие, её лишь маленькие люди до боли пронзают, Башмачкины да Поприцины. Да и пушкинское-то стихотворение в молодости создано, в азарте романтическом. В зрелые-то годы и он, скорей всего, так бы не написал...

По пути к почтовой станции встретили городничего, который и был тут же представлен. Гоголь, неожиданно для себя, и руку ему подал, хотя обычно избегал необязательных рукопожатий, да и любых касаний к иной человеческой плоти. С раннего детства держалось в нём ощущение своей отдельности, отстранённости от других людей, нарушать которую всегда было тяжело и неприятно. А тут, на тебе, для какого-то чиновника затрапезного, случайного правило своё нарушил!

— Душевно счастлив, — сказал городничий мягким басом.

— Да чем же?

— Познакомиться и лицезреть.

Лицо городничего было почтительно-серьёзным, но в глубине глаз искра какая-то посторонняя мелькнула.

— Что же вы обо мне знаете, ежели счастливы?

— “Ревизора” на театре видел, “Вечера на хуторе” читал и иное кое-что.

— И как вам “Вечера” показались?

— То смеялся, то мороз по коже подирал. Наслаждение одно, можно сказать. Только вот про Шпоньку и его тётку непонятно показалось. И конца там, уж извините великодушно, никакого нет. Видно, недосуг случился... — Губы городничего дрогнули, но он сумел удержать улыбку.

— Так, так, — покивал Гоголь. — Вижу, что читали внимательно. Вот теперь и я, если уж не счастлив, то душевно рад. А что про “Ревизора” скажете?

— Про “Ревизора”? — Городничий помолчал, потупившись, потом на Арнольди покосился.

— Что это вы, Михайла Потапыч, затруднились? — рассмеялся тот. — Говорите уж как есть.

— Извольте, скажу. — Городничий шумно вздохнул. — Смеялся я на вашей пьесе, глубокопочитаемый Николай Васильевич, до слёз. А как отсмеялся, то и подумал, что уж очень чиновники у вас глупы получились. Я таких, сколько служу, никогда и не видывал. Случаются, конечно, глуповатые, но не настолько, чтобы Хлестакову поверить. А ведь поверили, все как один.

— А это от страха, Михаил Потапович, — сказал Гоголь.

— Что ж это за страх такой, чтобы всем головы потерять? Страх, конечно, есть и должен быть у служилых людей, но всё ж таки соразмерный.

— Соразмерный, — усмехнулся Гоголь. — Как тут меру найти? Может, вы подскажите?

— Этого не осилю, а вот про другое могу сказать. Я, когда пьесу посмотрел, за автора, за вас то есть, поопасался.

— Как так?

— А так, что в городе, который в пьесе показан, все чиновники глупы, а города-то у нас одинаковы примерно. Выходит тогда, что вся Россия, вся власть из чиновников-дураков состоит. А это уже не шутка, за это строго спросить могут...

— Неужели вы думаете, что вам одному такая мысль пришла? — спросил Гоголь. — Как видите, обошлось.

— Ну, и слава Богу. — Городничий широко и добродушно улыбнулся.

— А мой-то Городничий очень по-своему неглуп, кстати, — сказал Гоголь. — Затмение просто временное на него нашло всё из-за того же страха. Что ж, рад был познакомиться с человеком, у которого среди подчинённых дураков нет!

— Да есть, Николай Васильевич, как не быть...

— Михаил Потапович, уважаемый, я вас вполне понял. А засим желаю здравствовать и вашим славным городом успешно править.

Несколько минут Гоголь шёл в молчаливой задумчивости, а потом лукаво посмотрел на Арнольди:

— А ведь городничий-то хорош!

— Хорош, Николай Васильевич. И прав, по-моему, насчёт возможных для вас неприятностей. Вам повезло просто-напросто.

— Это как же вы понимаете?

— Повезло, что на первом же представлении Государь оказался. Повезло, что смеялся много, да и куда было деться? Там есть такие места, что только мёртвого не расшевелят. А потом уж ему осердиться было никак нельзя, раз столько хохотал. Вы его в очень трудное положение своей пьесой поставили — чиновники-то его кровные, не заморские какие-нибудь. Ну, он выход блестящий и нашёл, сказал фразу, которая вас и тогда, и даже наперёд защитила.

— Всем досталось, а мне первому? Так это ж в пересказе известно, из третьих рук...

— Уверен, что так именно и сказал. Его манера, да и как было быть иначе? Мрачным из театра выходить? Похохотал всласть, а потом вдруг догадался, что хохотал-то над собой? Воля ваша, но это не по-царски.

— Пожалуй, — сказал Гоголь, помолчав. — Я и сам в эти его слова всегда верил... Послушайте, Лев Иванович, а ведь городничий мог и “Выбранные места...” почитать, заглянуть хотя бы?

— Вполне! Знают же у нас, что два письма, по крайней мере, губернаторше нашей адресованы. Уже по этому одному интересуются, об ином уж не говоря.

— Жаль, что не спросил его об этом... Мне, знаете, мнение людей со стороны, совсем не литературных, важнее всего.

— Не жалейте очень-то, Николай Васильевич. У нас не только малоярославецкий городничий, у нас и другие люди есть.

— Другие, они и будут другие...

“Выбранные места из переписки с друзьями” были его страшной, два года уже не заживавшей раной. С проповедью прямой, открытой впервые выступил, поучить жизни сограждан своих решил. И какие питал надежды! Думал порой, что вся Россия, хоть чуть, хоть на волос, к правильному, истинно христианскому пути подвинется. И какие же вместо того оплеухи и заушины стал со всех сторон получать! Как только вытерпел, да и выжил как? Самая сокрушительная — от Белинского была. От того самого Белинского, который великим художником его провозглашал, главой литературы русской, самого Пушкина преемником... Ужасное было время после выхода книги, которое вполне ещё и не кончилось. Да, именно рана незаживающая, с ней и брести ему, пожалуй, до гробовой доски. Второй только том “Душ” удачный и может её подлечить. Ошибся, выходит, с “Выбранными местами...”? И да, и нет. Да, потому что не дело художника проповедь говорить. Нет, потому что правду высшую в своих словах чувствует, которую должен был на прямую, за художество не хоронясь, высказать... Вот и высказал, вот награду и получил! Не поняли — тут и объяснение, тут и утешение. “Теперь не поняли, когда-нибудь поймут и оценят”. А теперь безоговорочно книгу приняли только Жуковский да Смирнова-Россет, Смуглянка его милая... К ней он едет-спешит, а не просто в Калугу. Несколько всего часов до встречи осталось, вот про неё и подумать пора, её и повспоминать. Всегда почти это на него, как лекарство, действует.

* * *

Гоголь, если уж отдавался воспоминаниям, то уходил в них глубоко и надолго. Вот и теперь давно позади был Малый Ярославец, Бегичево, имение Смирновых уже приближалось, а Александра Осиповна всё не отпускала его.

Забавно, что о времени и месте знакомства они толком сговориться не могли, путались и спорили. Он и заявил, в конце концов, что это как раз и хорошо, это показывает, что они всегда были знакомы. Сказал-то шутя, а потом и сам в это почти поверил. Если нет у духовной связи между христианами конца, то, может, нет и начала?

А вспоминается всё-таки 1831 год, Царское Село, Жуковский и она, красавица фрейлина. Такая красавица, что и смотреть на неё долго не мог, отводил глаза, как от солнца. Глаза-то отводил, в сторонке после знакомства жался, а “Вечера...”, только что вышедшие, послал ей-таки с приличествующей надписью. А потом, через пять лет, был Париж, она, дама уже замужняя, богатая, знатная, и он, автор не только первой маленькой книжки, но и “Арабесок”, “Миргорода”, “Ревизора”. Он тогда посмелее, конечно, себя держал, а она если и взглядывала на него, то всё равно как-то мимо. А вот в сорок третьем году в Риме всё изменилось, впервые она увидела его вполне своими чёрными, как смоль, широко открытыми, грустными, умными глазами. Тут-то они и стали говорить между собой по-настоящему, так, словно некая перегородка, до сих пор их разделявшая, внезапно исчезла. Говорили у неё в гостинице, говорили на улицах Рима и наговориться не могли. И все было живо, интересно, глубоко, важно. И он чувствовал с изумлением, что она его понимает, как редко кто в жизни понимал. А он понимал её, поражаясь ясности, с которой видел её душу — одинокую, измученную тоской, ищущую опоры, веры. Потому и видел, что и сам одинок был, и тосковал, и искал того же. Только у него ещё работа была, главный в жизни смысл.

Рим сменился Ниццей, и такая душевная близость между ними возникла, что они запомнили это навсегда, снова и снова, в письмах и разговорах вспоминая время Ниццы.

И был там жаркий день, и они сидели в гостиной, она вязала, а он читал ей “Мёртвые души”. Вдруг ветер внезапный, удар грома, звон разбитого оконного стекла. Он бросился закрывать окно, а когда вернулся, она пристально на него посмотрела и сказала: “А признайтесь, Гоголь, что вы немного влюблены в меня?” Это поразило его наподобие грома, который как раз

и грохотал за окнами. Он тут же встал и молча вышел, сам не понимая, почему это делает и зачем. А потом долго стоял в дверях гостиницы, глядя на хлещущий по мостовой ливень и приходя в себя.

Понемногу всё только что случившееся стало проясняться ему. Влюблён, она сказала? Нет, он любил её, любил, но не той любовью, которую она имела в виду. Он только душу её божественную любил и ничего больше. Небесная Афродита простёрла над ним свой покров, а уж никак не земная. И не только над ним, но и над ней тоже, хоть она и не догадывается об этом, земную Афродиту по старой привычке везде ищет. Вот и в нём нашла, а он её и не знал никогда, да, может, и не узнает. И не надо, он для другой любви создан, высшей, к Богу самой близкой. Для той, о которой апостол Павел писал, которая всё превозмогает, всё терпит и не проходит никогда. Без которой человек, что бы он ни имел и что бы ни делал, есть ничто... И Александра, если она его сможет полюбить, то только такой любовью. А земной — нет! Раз он сам к ней не способен, то и вызвать её в женщине не может никак. Лишь на Афродиту небесную им надо уповать, и она поймёт это в конце концов. Куда как умна, подсказывать нет нужды. А к происшедшему в гостинице надо так отнестись, будто его и не бывало...

После Нищы случались редкие встречи и, главное, письма, письма. Он даже особенный час определил для неё, который только ему должен был принадлежать: после обедни в воскресенье. В этот час она должна была садиться за стол, думать о нём, записывать для него факты из своей и окружающей её жизни и, конечно, письма ему писать. Откровенные, душу открывающие. А он, из писем этих исходя, советы ей давал, как быть, как жить. Так и установились в конце концов между ними отношения учителя и ученицы и даже врача и больной. Но ведь и обратное было, и он душу ей приоткрывал, как никому другому, и к советам её прислушивался, и следовал им порой. И сблизилась их души так, что стали жить вместе, рядом, помогая одна другой. Особенно в тяжелейшем для него 1845 году это проявилось. Умирал тогда совсем, и из самых первых, главных людей, которым слова последние сказать хотелось, Александра была. И отозвалась тогда она горячо и любяще. Душа моя хотела бы перелететь к вашей, быть с вами неразлучно, прорадоваться около вас и свои и ваши болезни... То письмо и согрело его, и подбодрило, и выздоровлению помогло. А просто по-житейски не раз поддерживала как! В 45-м же году ужасном не только болел, но и не знал, на что дальше жить, если всё-таки придётся. И в этом ей признался, и пенсион благодаря её хлопотам получил: по три тысячи в год на три года от царя и по тысяче на тот же срок от великого князя. Вот и вышло, что и на краю могилы она его придержала, и средства к жизни дальнейшей доставила...

Родство душ, любовь душ, да, но ведь и столкновения, и ссоры бывали, без этого не обходится у живых людей. Когда распорядился все деньги за собрание сочинений передать на помощь бедным студентам, а от неё это скрыл, не просто обиделась, узнав, но и выговор ему, учителю своему, настоящий сделала. За то, что он средств для жизни и работы необходимых лишается, мать и сестёр, помощи ждущих, ущемляет, долги немалые оставляет висеть на себе. Донкишотством поступок его назвала...

Когда же губернаторшей стала, трудненько ей с ним пришлось. Попросил, потребовал почти, жизнь свою калужскую подробно описывать — и бытовую, и светскую. Да не только свою, но всех людей окружающих, которые имеют в себе хоть какой-то интерес. Нужно ему это было для книги, для “Выбранных мест...”. Настойчив в просьбе был, напоминал, понукал, подталкивал и своего добился, две главы на её сообщениях сделал, да и в другие кое-что вошло. А писала она хорошо, очевидный дар к тому имеет... Да, помучил-таки её своими просьбами и поручениями, как и других многих. Никогда в подобных вещах не стеснялся, и причина очень проста — не для себя просил, для дела, а дело его целиком России посвящено. Сам-то он что имеет после всей своей работы огромной, мучительной, самоотверженной? Вот этот портфель с рукописью, одежонку потёртую и долги. Голову, кроме как в гостиницах и домах друзей, преклонить негде...

Вокруг была нега раннего летнего вечера, солнце закатывалось, и тонкие, лёгкие облака розовели нежно даже в зените, над самой головой. А справа от дороги тянулись широким разливом заросли кипрея, иван-чая по-народному, точно повторяя своим цветом цвет облаков. Да это же рай, мелькнуло у Гоголя, рай истинный! Небесное и земное друг к другу тянутся, слиться хотят!

— Вон Бегичево показалось, видите?! — воскликнул Арнольди. — Приедем через десяток минут!

Что, если сорвать несколько стеблей кипрея, таких прекрасных и розовых, как облака, да Александре в момент встречи и преподнести, подумал Гоголь. Может, поймёт, что это не просто цветы полевые, а и знак некий, символ? Он был уже готов остановить бричку, но тут же представил, как нелеп, смешон будет со своим странным букетом, и сдержал себя.

2

Едва проснувшись, Александра Осиповна вспомнила, что сегодня приезжает Гоголь, и испытала радость, вскоре перешедшую в озабоченность. По душам ведь с гостем придётся много говорить, а это так сложно, хотя и необходимо ей. В письмах откровенность трудна, а в общении живом и того труднее. И без неё нельзя, смысл тогда всё теряет.

Подготовиться надо, решила она. Если уж, письмо ему писать начиная, всегда сосредоточивалась особо, смотр жизни своей душевной проводила, то теперь надо сделать это вдвойне. А начнёшь теперешнее своё состояние прояснять-разбирать, прошлое неизбежно оживёт, так что придётся, хочешь не хочешь, всю жизнь свою поворошить, ревизию, как он бы сказал, ей сделать. Приедет скорей всего к вечеру, так что времени у неё целый день.

Снилось ей детство, и тут у них с Гоголем много общего: родились в одном году и даже месяце и оба в Малороссии, в дворянских семьях бедных. И росли потом в глухих и тем похожих местах — он на Полтавщине, а она на хуторе под Одессой, а потом в Гармаклее степной, у бабушки. Сладко как бывало вспоминать с Гоголем детство, такое похожее: словечки, никому больше не известные, бытовые пустяки трогательные, степь вольную... Так что в шутке его давнишней, будто они всегда были знакомы, и подкладка правды есть. Тогда, с рождения самого, души их, может быть, встретились и не разлучаются до сих пор.

За окном раздался звонкий, разгонистый, лихой петушинный крик. И тут же Гоголь давней, парижской поры вспомнился: в жилетке лазоревой, галстук красном, панталонах жёлтых, с носом длиннейшим, с хохолком забавным. Вот именно что петуха он ей тогда напомнил. Любил и любит в одежде хоть как-то себя выставить, выделить, только выглядит это весьма жалко и смешно. Да она и смеялась когда-то едва ли ему не в глаза, но понемногу научилась себя одёргивать. Пусть он и напоминает порой то петуха, то попугая, но ведь гений!

Она посмотрела на часы — начало восьмого. Нужно поторопиться, вдохнуть в саду остатки утренней свежести. Привычно нашарив ногами ночные туфли, она встала, подошла к окну, отдернула штору. Всё было, как и вчера — солнечно, слепяще ярко и пёстро. Их с Гоголем любимая стояла погода — малоросская сухая жара.

А вот зеркало её никак не порадовало, при первом взгляде мелькнуло даже — старуха. Так ведь и сказано — бабий век сорок лет, а ей как раз столько... Одно почти не стареет — глаза. Если только в них смотреть, не открываясь, то легко можно представить, что тебе не сорок, а тридцать, двадцать... Глаза — сильное оружие женское и тупится последним, пожалуй. Они да голос. Да, была красота, а теперь поскрёбыши одни остались. Красота... И тайна в ней, и бремя немалое. Гоголь, учитель и наставник, доволен, наверное, что красота её блёкнет и рушится, думает — от греха подальше...

Она позвонила раз, другой и, совсем уже оглушительно, третий. Наконец вошла, вбежала горничная Дуняша с раскрасневшимся, виноватым и всё

равно потаённо-радостным лицом. Александра Осиповна редко раздражалась на слуг, но тут сказала резко:

— Что это ты, милая?! Не хочешь толком служить, так я найду тебе место!

Горничная что-то забормотала в своё оправдание, но Александра Осиповна не слушала её, а лишь на лицо смотрела. И поняла вдруг с неловкостью, со стыдом даже причину своего раздражения. В молодости Дуняши она была, в пригожести её, в радости неудержимой, которая даже сейчас, после выговора, так до конца в ней и не погасла...

* * *

От утренней свежести, на которую рассчитывала Александра Осиповна, в парке были лишь жалкие следки в самых тенистых местах. Она побродила там не торопясь, а потом на самый солнцепёк вышла, и тут ей показалось даже приятней. В солнце всегда было для неё что-то родное, дружеское, и душа на него отзывалась, и плоть, и кровь. Да и как иначе, если детство прошло в степях южных, а родовые корни были и того южнее: отец итальянец, а мать грузинская княжна. Она подумала, что и Гоголь радуется теперь знойным дням и хочет, чтобы они продержались подольше.

Когда в одиннадцать лет привезли её в Петербург, в Екатерининский институт, больше всего мучилась она на первых порах от многолюдья вокруг и от холода в классах и спальнях. Думала, что не выдержит институтской жизни, зачахнет, умрёт, но привыкла-таки понемногу. Сил жизни было так много, что они всё смогли перебороть и победить. Одной из первых институт закончила с вензелем наградным. Худо только, что была к той поре круглой уже сиротой, и будущее лежало впереди туманно-тревожным. Но судьба благоприятствовала ей, и она оказалась в конце концов фрейлиной у жены Николая на целых шесть лет, до замужества. Странно, забавно и страшновато было вдруг стать в юные годы “её превосходительством”, потому что звание фрейлины к генеральскому чину приравнивалось. Она-то в восемнадцать лет “генералом” стала, а Гоголь в двадцать простым писцом в какой-то департамент поступил, карьеру Акакия Акакиевича Башмачкина из “Шинели” своей великой начал...

Когда проходила мимо молодого мужика-садовника, чистившего дорожку, он распрямился, повернулся к ней всем своим крупным, широкогрудым телом и замер. Потом поклонился, и они встретились глазами. Взгляд его был прям, прост и ясен, разрывая этим завесу условности между ней, барыней знатной и богатой, и им, её слугой крепостным. Она кивнула ему молча и даже чуть улыбнулась, проходя мимо. Вспомнилось представление императору и свой собственный взгляд в его светлые, чуть навывкате, глаза. Какая-то странная сила, гордость, наверное, заставила её смотреть в его глаза упорно и с таким же, как у садовника только что, выражением: прямо, просто и ясно. Словно он не самодержец всея России был, а прежде всего человек, мужчина, а она не подданная его, не песчинка империи громадной, а молодая девушка и только. В его же глазах холодно-грозных вдруг мелькнула искра удивления и интереса...

Она подумала, не преувеличение ли всё это, не выдумка ли просто-напросто задним числом? Ведь приятно, лестно представлять, что именно такой, особенной, она была в ту далёкую, важную для неё, минуту. Люди к самообольщению куда как склонны... И всё-таки нет, не самообольщение это, а правда. И было, и остаётся в ней нечто, из общего ряда её выдвигающее, иначе не набралось бы в её жизни столько людей крупных, талантов огромных, умов глубоких. Кто искренним интересом и вниманием её дарил, кто дружбой теплой, кто влюблён бывал, а кто даже предлагал руку и сердце. Что-то ведь влекло их всех к ней, а значит, в ней и было! Она начала перебирать имена, с нежностью и грустью. И с удовлетворением, конечно, ведь это её опора душевная была да и есть. Иные здравствуют, слава Богу, а иные уже и в мире ином. Вот они, друг за другом, пальцев не хватит

пересчитать: Пушкин, Лермонтов, Гоголь её любезный, гость ожидаемый, Тютчев, Жуковский, Вяземский, Тургеневых целых два, Аксаковы, отец с сыновьями, Карамзины, Щепкин... Можно бы и продолжить, да надобно дух перевести. Жизнь её с годами всё больше к воспоминаниям склоняется, и всё чаще она то одного, то другого к себе призывает и из числа мёртвых, и из числа живых. И они являются послушно, и видятся ей едва ли не явственней, чем в реальности когда-то...

Парк кончился, и она вышла на спуск к речке, к простенькой, к их приезду в Бегичево наскоро сооружённой купальне. За речкой тянулся огромный, заболоченный луг, а за ним темнел лес. Привыкнув в детстве к далям степным, она любила это место именно за открывавшуюся отсюда даль, на которой не только глаза отдыхали, но и душа, утоляясь простором, волей вольной впереди. Она постояла, отдыхая, и уже собиралась спуститься вниз, к воде, как вдруг увидела белое, плывущее над лугом, пятно. Лунь, скорей всего... Он скользил полого сверху вниз с широко расправленными, неподвижными крыльями, и у неё от этого замерло сердце. И что-то дрогнуло в памяти, никак не превращаясь ни в образы, ни в слова... И вдруг мелькнуло: в о б ъ я т и я х н ё с... Да, да; именно это, лермонтовское: “По небу полуночи ангел летел и тихую песню он пел... Он душу младую в объятиях нёс для мира страданий и слёз...” А дальше-то как, надо, надо вспомнить! “...И долго на свете томилась она, мечтанием чудным полна, и звуки небес заменить не могли ей скучные песни земли”. Господи, как хорошо! Её, её именно душу кто-то на землю принёс и обрёл на ней томиться. И звуки небес, родины своей, пытаться услышать, и скучать от песен земли... Ей представился ярко, как живой, Лермонтов, каким она увидела его впервые лет десять назад: молоденький совсем, низенький, кривоногий, большеголовый. Почти уродливым он ей показался, но какие же были у него глаза! Огромные, тёмные и словно бы налитые тяжёлой, грозной, вот именно что неземной тоской. Даже ей, такой привычной к мельтешению света многолюдному, не по себе стало. Показалось на миг, что смотрит на неё не человек, а демон тоскующий. Встречались потом не раз, но сильнее того, первого и самого глубокого, впечатления не было. Стихи ей за год до гибели написал да так и назвал попросту: “А. О. Смирновой”. Вот их не надо с усилием припоминать: “Без вас сказать хочу вам много, при вас я слушать вас хочу; но молча вы смотрите строго, и я в смущении молчу. Что ж делать? Речью неискусной занять ваш ум мне не дано... Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно...” Что ж, признание в интересе к ней, в уважении, во влюблённости, может быть. Милые стихи, но ведь и не более того. Не “Молитва”, не “Парус”, не “Родина”... Что ж, альбомное стихотворение и не может быть больше самого себя...

А она ведь его опасалась, что от себя-то скрывать. И это при её опытности светской, умении с любым человеком, с императора начиная, обойтись. Да ещё и старше его была на целых пять лет. Так чего же опасаться было? А сходства между ними опасного в самой-самой душевной глубине, в тоске по иному, высокому, чего на земле не найти. Но сходство в этом и с Гоголем есть, но его-то не опасалась и не опасается? Да потому, что мужчине в нём по-настоящему не чувствует, а лишь творца, учителя, друга. Когда же Лермонтова увидела, то сразу ощутила — мужчина! И ещё поняла, что если, не дай Бог, искра страсти взаимной между ними вспыхнет, то такой выйдет взрыв, что обоим несдобровать. В последнюю же встречу вдруг подумала — нет, не заживётся он на свете, уйдёт-улетит туда, откуда прилетел. Угадала, к несчастью. Ей же самой, скорей всего, ещё долго жить-быть, т о м и т ь с я, по его же слову...

* * *

На веранде, в стороне от накрытого к завтраку стола, сидел с книгой муж. В его длинном лице, острых ушах Александре Осиповне вдруг почудилось что-то кроличье. Хорошо, если б он и по натуре кроликом был, только всё наоборот как раз — груб, вспльчив, взбалмошен, необуздан...

— Каково прогулялась? — спросил муж, звучно захлопнув книгу.
— Прекрасно! И искупалась даже.
— О-о! Одинокое купанье утром — это что-то новое. Остаётся конную прогулку иногда совершать для полноты картины. Да не как-нибудь, а вскачь!
— Не понимаю, о чём ты и к чему, — пожала Александра Осиповна плечами. — Что читал?
— Французский роман из тех, что ты презираешь. Всё у нас как-то на оборот выходит...
— Наоборот чему?
— Занятиям мужским и женским. Ты в амазонки метишь и в мудрецы, а я с любовными романами прохлаждаюсь.
— Господи, совсем ты меня заморочил, — поморщилась она. — Амазонки, романы, мудрецы... Давай-ка о чём-нибудь попроще с утра.
— Изволь, можно и попроще. Я в Калугу сегодня уехать хочу, — сказал муж с некоторой даже угрозой, словно ожидая возражений и готовя отпор. — Уеду и останусь до вашего там с Гоголем появления.
— Что так?
— Дела поднакопились, губерния на мне, как-никак... А чему ты усмехаешься? Ты и в Германии над моей службой потешалась и здесь туда же! Поверь, я не только романы французские читаю, я и дело делаю.
— Не сомневаюсь.
— А кроме того, книги твоего разлюбезного Гоголя я очень ценю, но до него до живого, признаться, не большой охотник. На меня от него тоска находит. Эти фразы длинные, отмеренные, эти мысли высокие, туманные...
— Знаю, можешь не продолжать... Что же, ты муж не только мой, но муж и государственный, скажи, коли труба зовёт. А Гоголя я тебе не навязываю. Не мил, ну, и быть так. Кто любит арбуз, а кто арбузные корки...
— Не то чтобы я его так уж не любил... Человек-то он, может, и великий, да не по мне. Вам здесь без меня, вдвоём, ещё лучше будет, разве не так?
— Возможно, и так. Только ты уж в Калуге, когда приедем, встречай гостя по всей форме, не конфузуй меня.
— Тебя сконфузишь! — фыркнул муж и тут же добавил живо: — Нет, нет, в этом не сомневайся. Во многом грешен, но долг гостеприимства не нарушал никогда.
— Пожалуй, — согласилась она. — Что есть, то есть, даже и до чрезмерности порой.
— Гостеприимство чрезмерным не бывает, — заметил он важно. — Да, Гоголю скажи, что по срочным делам уехал, а то неловко получается — гость на порог, а хозяин вон.
Знаю я твою срочность, подумала Александра Осиповна холодно и брезгливо. По картам соскучился да по бабёнке своей...
— Однако пора и завтракать, — сказала она, перебивая эти неприятные мысли и звоня в колокольчик. — Что-то девицы наши задерживаются...
За столом говорили мало и неохотно, и это было в странном противоречии с прекрасным утром, с весёлым ветерком, залетавшим на веранду, с птичьим гомоном в парке. Изредка взглядывая на мужа, Александра Осиповна видела его самоуверенное, отрешённое лицо и понимала, что мысленно он уже не здесь, а в Калуге, среди тех удовольствий своих, ради которых и уезжал. Ел он с неприятной неряшливостью, что не переставало и раздражать, и удивлять её на восемнадцатом году брака. Светский, публичный человек, дипломат в прошлом, а вести себя за столом так и не научился. Да и вне стола, в простом разговоре, немногим лучше: голос повышает до неприличия, жестикулирует так, что его сторонятся... Нелюбовь, неприязнь, а то и прямое отвращение к мужу были ей так тяжелы, что она порой, борясь с этим, начинала его хорошие черты вспоминать: добр, щедр, широко образован, честен, — всегда помочь готов хоть кошельком, хоть делом. А ведь немало набирается, усмехнулась она про себя. Да и черты-то всё крупные, главные, суть человека определяющие, так что необузданность, взбалмош-

ность и неряшливость можно бы и простить. Можно, да нельзя. Не принимает его упорно ни душа, ни тело, что делать будешь? Тайна приязни и неприязни к человеку велика есть... Она смотрела на дочерей, и мысли об их характерах приходили ей в голову. С Ольгой с каждым годом отношения всё сложнее и труднее и, похоже, так оно и дальше будет идти, усугубляясь. Девка дерзкая, своенравная — не подступись. Похоже, что эту защитную, боевую сторону натуры одну лишь от неё взяла, а остальное, что поважней и получше, пропустила. И судьба у неё просматривается незавидная, одинокая. Надя же простенькая, добрая девочка, этим и будет к миру и людям прикрепляться...

— Так я иду, а потом и еду! — услышала она голос мужа.

— Для гостя флигель на даче прикажи приготовить. Три комнаты займёт, что у входа.

— А не заденет его, что во флигеле, а не в доме?

— Не заденет, а обрадует. Ему уединение и покой всего важнее, а дом для него всегда будет открыт. Прощай, думаю, что больше трёх-четырёх дней мы здесь не пробудем. — Она помолчала и усмехнулась. — Смотри, очень то не излишествуй и подчинённых сильно не обыгрывай.

— Это уж как выйдет! — развёл он руками.

— Как выйдет... Будто ты не знаешь, как с начальниками в карты играют.

— Я в поддавки не игрывал ни с кем! — Муж даже покраснел от возмущения. — И подчинённым этого не позволяю!

— Так им и говоришь?

— Хороший служака по глазам начальника должен всё читать!

Глядя вслед мужу, она подумала, что без общения с Гоголем вряд ли бы о картах упомянула. Его наставления о том, как жить-быть губернаторше, невольно прорвались. В “Выбранные места...” многие из них потом вошли, а сама книга повсеместное осуждение и смех вызвала. Лишь она, может быть, вполне поняла, из какой боли за Россию, из какого желания ей помочь книга родилась. Подвиг любви бескорыстной, жертвенной, именно так. Вышел Гоголь перед миром, гениальный и наивный, и сказал, что думал. И получилось местами наивно, едва ли не глупо, а местами гениально глубоко. Сама же она гордилась тем, что помогала ему в работе и что письмо о значении и роли губернаторши к ней и про неё написано...

* * *

Беседка была для Александры Осиповны чем-то вроде летнего кабинета. Хочешь, за столиком пиши, хочешь, в кресло садись, читай, думай или бездумно на парк и небо в его прогалах смотри. Последнее она больше всего любила, потому, может, что редко в этом состоянии умела быть. Мысль неутомная и воображение живое были для неё отрадой, но и бременем одновременно. Уставала порой так, что сжимала виски ладонями, пытаясь работу эту изнурительную приостановить.

Она вошла в беседку с томом “Истории государства Российского” Карамзина, в котором история Калужского края затрагивалась, и села в кресло. Поддержала тяжёлую книгу в руках, не решаясь открыть и глядя на обложку. Само имя автора было дорогим и близким, и на миг ей почудилось, что и читать-то не надо, что она и так в этой книге всё знать должна. Столько лет дом Карамзиных её вторым домом был, и с кем только она в нём не познакомилась, не сблизилась!

Решение перечитать уже читанные страницы, чтобы на неизбежные вопросы Гоголя по истории края ответить, показалось ей смешным. Как ученица перед экзаменом, перед учителем строгим! При памяти ёмкой, въедливой, цепкой, даже её и тяготившей, помнит она и так самое важное, конечно. Тяготил её порой и ум, не находивший с годами применения всё чаще, работавший как бы вхолостую, в пустоте... Вспомнилось, как она впервые почувствовала с изумлением, что думает быстрее и глубже, чем сам

император. Тоньше, во всяком случае. И пришлось это скрывать, чтобы не задеть самолюбие Николая. Иногда такое мнение о себе казалось ей самообманом, но всё-таки нет! Во-первых, потому, что она свой ум не так уж и ценила, помеху спокойной и счастливой жизни в нём видела, а во-вторых, отношение к ней людей несомненно умнейших это доказывало. Сам Пушкин разговор с ней ценил, и не только шуточный, но и серьёзный вполне.

Она отложила книгу, так и не раскрыв её. Лучше всего было сейчас, перед встречей с Гоголем, о судьбе своей, о душе своей подумать.

Замужество — главное в женской жизни событие, и тут у неё всё проще простого: продана за 6000 душ не только для себя, но и для братьев. Были, кроме Смирнова, и другие возможные партии, но как-то не сложилось. Тот богат, да очень уж стар, тот молод, да беден... Боже мой, Жуковский ведь сватался, четвертьвековую разницу в возрасте презрев! Отказала прежде всего потому, что лишь друга душевного в нём видела, Гоголя в этом чем-то напоминающего. И не обиделся ничуть, так другом и остался навсегда... Смирнов же подходил и возрастом, и богатством, и близостью к кругу её друзей, к Пушкину, к Карамзиным. Неприятен был, потому и колебалась, а тут как раз императрица начала её к этому браку подталкивать. Сбыть хотела со двора, к мужу ревновала. Могла бы и привыкнуть, кажется, всех избранниц Николая временных, мимолётных не переревнуешь. В ней, может, особенную какую-нибудь угрозу увидела? Может быть... Однако добра к ней оставалась неизменно и остаётся до сих пор. А что с Николаем было? Странно, что до сих пор иногда думается — да было ли? Сладкий ужас, вот почти единственное, что удавалось толком вспомнить, чувство, что не с человеком она находится, а с полубогом. И ещё зажатость мучительная, душевно-телесная вспоминалась, которую никак не могла преодолеть... Николай же расположенным и внимательным к ней так и остался, просьбам её внимает и выполняет их чаще всего. Кому только помочь ни удавалось, начиная с Гоголя...

Смутил размер приданого, которое выдали ей перед замужеством. Всем фрейлинам в подобных случаях выдавалось по 2 тысячи, а ей дали целых 12. Это же как проявление, как признание особенного к ней отношения было... А она Николая любила и любит, как только верноподданная может государя любить. Написала как-то Гоголю, что каждый из нас был бы во сто крат хуже, если бы его столько лет окружали льстецы и подлецы. Как хорош он бывал в минуты трудные и решительные. Рыцарь! Видела, как из Петергофа в Петербург усмирять холерный бунт поехал. Умоляли, императрица первая, не ездить, жизнью не рисковать, но он не внял. Прибыл прямо на Сенную, на форум народа рабочего, перед тем разорвавшего в клочки двух врачей. Говорят, до 8000 человек там было. Он встал в коляске и крикнул возбуждённой, роптавшей толпе: "Все на колени и молись!" Народ смирился вмиг и молился, на колени став, об избавлении от бедствия ужасного. Вскоре и холера на убыль пошла. Это храбрость, но ведь он и милость, и жалость к бедным и обездоленным имел, тоже рыцарскую. Привёз как-то с улицы маленькую нищенку, крикнувшую ему: "Дяденька, дай покататься!" Её угостили блинами, и она сказала ему: "Дяденька, а у тебя блины лучше наших". Потом ей и денег дали, и домой отвезли в санях императорских...

Со стороны птичника послышалось куриное кудахтанье, в котором было самодовольство и хвастовство по поводу снесённого яйца. Как хорошо у них, как просто, подумала Александра Осиповна, не то что у людей...

Первые её роды оказались совершенно ужасными. Сорок пять часов мучений почти без отдыха и без сна. Потом даже и не верилось, что она это вынесла, что такое вообще способен перенести человек. А потому и вынесла, что некуда было деваться, одно оставалось — терпеть. За терпение же великое не награда ждала, а страшное известие, что ребёнку голову пришлось раздробить, иначе бы не разродилась и умерла. Да она и предпочла бы умереть, только выбора не имела...

Едва оправилась от пережитого кошмара, как вновь беременность, да ещё и двойней. Говорят — кровь леденеет в жилах. Вот она у неё именно леденела при мысли о новых родах. Трудненько пришлось, но всё-таки полегче, чем в первый раз. Двух девочек родила и, слава Богу, живых. Как хо-

роши они были, особенно Сашенька. Её двойник появился, её смена на этой земле. Даже имя ей своё дала, едва разглядела редкостную на себя походить. Вот, думала, и награда за все муки мученические, от Бога подарок...

Говорят, да и сама замечала, что дети улучшают несчастливые поначалу супружества, а у неё получилось наоборот. Ещё неприятнее, несноснее стал для неё муж после двух подряд родов. В муках перетерпленных ужасных стала невольно его винить. Понимала, что это нелепость, но ничего с собой поделать не могла. Исполнения же долга супружеского стала просто бояться, слишком хорошо зная, к чему это приводит в конце концов. Уступала, конечно, требованиям настойчивым, но холодной оставалась, как лёд. Потом, к счастью, пореже требования эти стали и помягче, уклоняться можно было под разными предложениями. Поняла тогда, что муж на стороне стал утешения искать, и вздохнула облегчённо.

Утешение... А её в чем утешение? Давно уже в Гоголе, но ведь и иное было, и земное, и небесное вместе, не разделить. Двадцать седьмой год ей тогда шёл, в Бадене обреталась со всей семьёй, беременной будучи, воду противную пила, ванны принимала, променады совершала обязательные. Позади была придворная жизнь, замужество, двое родов тяжелейших, разочарование почти во всём, во что верилось когда-то. Откуда, казалось бы, любви в таком положении взяться? Понимала, что неоткуда, но искорка надежды бессмысленной всё-таки тлела в душе едва уловимо, и никак её было не погасить. И ведь случилось, ~~с т р я с л о с ь~~! Говорят, дух живёт, где хочет, вот и с любовью что-то похожее. Приходит ниоткуда и уходит в никуда...

Знакомясь с Киселёвым и едва взглянув ему в глаза, она почувствовала, что неудержимо краснеет. И он покраснел тоже, вот что поразительно! Мгновенное ~~у з н а в а н и е~~ друг друга произошло и влечение взаимное мгновенное возникло. А ведь никакой совершенно для того не было почвы: она дама замужняя, да ещё и в положении интересном, он вольный холостяк, для которого она, казалось бы, никакого интереса не представляла. Как ни называть это объяснение древнегреческое в зубах, а пришлось-таки его вспомнить: стрелы Амура поразили враз обоих.

Николай Дмитриевич Киселёв, первый секретарь русского посольства во Франции... А теперь и посол, мелькнуло у неё с удовлетворением, словно она с ним вместе сделала эту карьеру. Киселёв, а для неё довольно скоро Киссе, для дочерей же ~~К и л и в о в~~. Забавно, что они обе так его называли...

Длилось это сладкое безумие полгода, пока Киссе не уехал по срочным служебным делам. Дочь она родила без него, и роды прошли быстро и благополучно. А потом был Париж, встреча такая жаркая и нежная, о которой она могла только мечтать. И все прежнее в сохранности осталось, и новое добавилось. Чудилось порой, когда они бывали втроем, с ребёнком, что он их общий. Да так чудилось, что она черты Киссы начинала в ребёнке невольно искать, пугаясь при этом за свой рассудок...

Когда же Киссе в Лондон на постоянную службу был переведен, она долго маялась, пытаясь под разными предложениями уговорить мужа съездить туда. Уж если не надолго, то хотя бы на несколько недель, дней даже. Не смогла и почувствовала впервые, что тот защитный покров, который простирался над ней, над ними, был сдёрнут. Почти голос при этом услышала суровый: погрешили и будет! Ей стало страшно, и страх оправданным оказался: тяжело заболела и вскоре умерла любимица её Сашенька.

Это был ад. Даже теперь, вспоминая, она почувствовала, как яркий, полуденный свет солнца за пределами беседки померк, будто чёрная туча его закрыла. А тогда она в совершенную тьму отчаяния погрузилась, выныривала изредка и ненадолго, не понимая толком, что вокруг, и погружалась вновь. Никак нельзя было принять то, что Сашеньки нет более на свете — нигде, нигде! Была только что, бегала, смешно косолапя, говорила быстро и чуть картаво, смеялась звонко, и вот ничего этого нет, и никогда уже не будет...

Отчаяние стало чуть утихать от истощения сил, и за ним прежнее горе понемногу проступило, с Киссом разлука. Двух самых любимых людей она потеряла вдруг, дочь навсегда, да и его, пожалуй, тоже. А что если это не

случайное совпадение, а за грех расплата? Ведь в ней ребёнок, с мужем зачатый, уже знать о себе давал, а она...

Чем больше она в себя понемногу приходила, тем сознавала яснее, что не хочет жить. Нестерпимо мучительно было людей, особенно мужа, видеть, делать хоть что-нибудь, двигаться, говорить. Хотелось в тишину и темноту уйти, полную, бесконечную...

Помог ей приехавший в Париж Гоголь, спас, может быть. Не так уж они в ту пору были близки, но она, сама на себя удивляясь, всё ему про себя, тогдашнюю, вдруг и рассказала. Взгляд его увлёк: такой глубокий, всепонимающий, сочувственный. Начала о смерти дочери говорить, а к концу, неволью как-то, сказала и про Кисса. И покраснела до слёз, и поднять на Гоголя глаза долго не решалась. А, подняв-таки, увидела, что взгляд его совершенно не изменился, будто он о сказанном знал заранее. Молчал он долго и заговорил тихо и медленно, взвешивая, как на ладони ей поднося, каждое слово. Сказал, что надо смириться, каяться и молиться. И Бога благодарить за всё, за всё. Но разве ж она сама этого не знала? Знала, но умом одним, а тут сердцем поверила. Тон у него удивительный был, будто он не её одну имел в виду, но и себя, и всех людей вообще. Одну фразу и до сих пор помнит: сила христианина в слабости обретается. Для ума не сообразно, а для сердца понятно вполне.

* * *

К обеду, как надеялась Александра Осиповна, Гоголь не приехал, и уже приближалось время ужина. Ей было странно то нарастающее нетерпение, с которым она ожидала его. Когда Кисса ждала, оно было понятно: лицо его любимое, во всём мире единственное, увидеть, голос милый услышать, его руки на своих плечах ощутить... Но Гоголь? Что он привезёт с собой? Возможность разговора по душам? Да, но ещё и чувство защищённости, крыши некоей духовной и сознание, что не одна она на свете со своей тоской по иному, горнему миру...

Когда до ужина оставался какой-нибудь час, она вышла в парк и принялась ходить взад-вперёд по аллее, поглядывая в сторону дома, куда должен был подъехать экипаж с Гоголем и братом. Вот на деревне как-то особенно громко и азартно залаяли собаки, вот возглас женский испуганный раздался, такой яркий в вечерней тишине. Едут, подумала она и не ошиблась — по прешпекту к дому замелькал, застучал экипаж двойней...

Гоголь шёл ей навстречу и показался особенно маленьким и тщедушным. Не в первый раз такое было, и она понимала причину. Когда книги его читала, то ощущала неизменно мощь его таланта, огромность личности, и он рос в её глазах, в её воспоминаниях о нём даже и физически, и перед очередной встречей, особенно если разлука была долга, она бессознательно ожидала увидеть его крупным, сильным, величественным. А тут эта заморенность, хрупкость, неловкость движений, лицо, с чертами мелкими, с носом птичьим... И такое вдруг сочувствие, почти материнское, поднялось в ней, что она была готова обнять его, голову его бедную прижать к груди.

— Николай Васильевич, дорогой, как я рада!

— Александра Осиповна, дорогая, как и я рад! — повторил Гоголь в тон ей.

Он склонился к её руке, а она прикоснулась губами к его уже редющим на затылке волосам.

— Почему так долго ехали?

— Да уж потому!

Его глаза уже и смеялись, а в глубине их проступало что-то острое, цепкое. Чувство жалости к нему исчезло мгновенно, великий насмешник над родом человеческим стоял перед ней, великий писатель, великий сердцевед.

Поздоровавшись с добродушно улыбающимся братом, она вновь повернулась к Гоголю:

— Как ехалось?

— Со всячинкой, а в общем прекрасно!

Она видела, что он в одном из своих хороших расположений, и была рада этому. Только бы продержалось оно подольше, на весь срок визита.

— А я так вас ждала! По собачьему лаю на деревне угадала, что едете.

— Это чувствовалось, поверьте. На последних верстах так что-то и тянуло вперёд.

— Может, это желудок вас к ужину тянул, Николай Васильевич? — спросил Арнольди. — Меня — так точно он.

— Желудок? Что ж, и он тоже, не буду скрывать. От двойственности природы человеческой куда же деться?

— Так пойдёмте скорее! — воскликнула Александра Осиповна. — Таких соловьев не годится баснями кормить.

— Может, с вашего позволения, постоим для души минутку, осмотримся? — сказал Гоголь. — Не годится, как школьникам, вслед за желудком к столу бежать.

— Я в институте иногда настолько есть хотела, что впору было и бежать, — сказала Александра Осиповна и усмехнулась. — Сейчас бы так...

Гоголь стоял, осматриваясь внимательно, и в конце концов даже вверх, к небу голову поднял.

— Николай Васильевич, небо тут совершенно такое, как и над дорогой было, — сказала она, смеясь. — А остальное успеете рассмотреть и даже потрогать, коли пожелаете...

Александра Осиповна знала, что Гоголь большой любитель поесть, и вкусы его были ей хорошо известны. Поэтому она и итальянских макарон, его любимых, приказала закупить побольше и повара попыталась научить приготовлению мяса по-римски. И ждала и даже чуть тревожилась, как он оценит ужин.

Гоголь ел жадно и много, склоняясь над едой так, что длинные его волосы едва не попадали в тарелку. Эта манера есть напоминала мужа, но не вызывала в ней неприязни, лишь странную какую-то жалость. Да, вдруг вспомнила она, сказал же однажды, что еда единственная из страстей телесных, которую он себе пока позволяет. Пока! А что же потом? В постники-аскеты, что ли, собирается идти? Что ж, с него станется, всё материальное, житейское отодвигает от себя всё дальше и дальше.

Утолив первый голод, Гоголь откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. Александра Осиповна спросила, как ему показалось мясо по-римски.

— Превосходно! — ответил он. — И оригинально очень. И далее мои “Души” мне вдруг напомнило.

— Это как же?

— А там, в начале самом, магазин упомянут с вывескою “Иностранец Василий Фёдоров”.

— Ну и что же?

— А то, что мясо это чудесное получилось и римским, и калужским одновременно.

Арнольди расхохотался.

— Вот именно! Я чувствую — что-то необыкновенное, а что, понять не могу.

— Так ведь вкусно же?! — проговорила Александра Осиповна сквозь смех.

— Вкусно настолько, что язык можно проглотить, — сказал Гоголь, — Вам, дорогая хозяйшка, патент нужно взять на изобретение нового блюда: мясо римско-калужское...

Вскоре Арнольди зевнул так, что едва успел прикрыться ладонью. Александра Осиповна заметила это и сказала:

— Может, гостям и на покой пора? Триста вёрст проехали, не шутка.

— Я мало сплю, — сказал Гоголь, — потому ещё бы посидел, если позволите.

— Очень буду рада! Ну, а ты? — обратилась она к брату. — Иди, иди, не стесняйся, молодым много надо спать.

Когда остались вдвоём, произошло довольно долгое молчание, отнюдь не

тягостное, впрочем. Вот ещё признак отношений доверительно близких, подумала Александра Осиповна, молчать легко. И чудится при молчании, что разговор неслышимый, от души к душе, всё-таки идёт.

Вечер был тихим и тёплым, над деревьями парка висела набравшая силу луна в окружении звёзд. Оба засмотрелись на неё, потом друг на друга взглянули и улыбнулись друг другу.

— Помню, бабушка говорила, что звёзды — это ангелы Божьи, которые на нас с неба смотрят. Я и не знала, что такое ангелы, а всё равно было приятно. Кто-то смотрит на тебя сверху, да так тихо, приветливо.

— Да, да! — оживился Гоголь. — А ещё говорили, что звёзды — это души умерших. Представьте, мне и такое очень нравилось. Умер человек, а потом звездой обернулся. Иногда думал даже, что хорошо бы умереть поскорее, чтобы звездой сделаться.

— А сколько вечеров таких вот в детстве было! Кажется, едва ли не все подряд.

— Вечер совершенно наш, малоросский, благоуханный.

— Благоуханный... — Александра Осиповна помолчала, словно прислушиваясь к чему-то. — Ваше словечко любимое. Высшая, я заметила, похвала. Вы его даже в литературных оценках употребляете.

— Всё-то вам про меня известно...

— Где там! Всё мы и про себя не знаем. Да, вот ещё, если мы уж детство вспомнили. Очень я любила в коноплю забираться и сидеть там подолгу. Запах у неё такой дурманящий, что растворяться в нём начинаешь.

— Вот откуда у вас к дурману светскому склонность, от конопли! — улыбнулся Гоголь. — Глубокие корни, трудно такие вырывать.

В стороне от веранды, в свете, переходящем в темноту, изредка мелькали летучие мыши.

— А меня вот эти твари жутковатые завораживали, — показал на них Гоголь. — И пугали, и чем-то влекли. В страшном ведь и влекущее есть, не замечали?

— Замечала, разумеется... Что ж, звёзды мы обсудили, а как вам луна в детстве представлялась?

— Как знак, символ иного мира, потустороннего, грёз, снов, мечтаний фантастических. И что-то пугающее тоже было.

— Как, в луне?

— В луне, в луне! А вы посмотрите на неё повнимательнее даже и сейчас. Что она напоминает?

— Мне ничего. Предвечерняя на облачко была похожа, а теперешнюю как раз ни с чем сравнить и нельзя.

— Череп она напоминает, — сказал Гоголь глухо. — Череп человеческий. И я с детства самого это знал.

Свет свечей заколебался, тени шевельнулись, и Александра Осиповна увидела вдруг лицо Гоголя таким изнурённым, мертвенным, что у неё захолонуло в груди.

— Николай Васильевич, что вы, какой череп? Ничего и подобного нет!

— Посмотрите получше и увидите.

— Ну, и посмотрела, ну, и что? Пятнышки, какие-то тёмные есть и всё. Ну, рожицу можно представить забавную, если постараться...

— Что ж, рожица забавная, это... это забавно. С чем вас и поздравляю.

Он улыбнулся лукаво и стал прежним Гоголем, и она вздохнула с облегчением.

— Возьмите-ка свежего чаю! И бисквит, по-моему, неплох, вот вам кусочек.

— Бисквит для меня, сладкоежки, большой соблазн. Только места для него совсем нет. Хотя в церкви тоже места не было, а городничий пришёл, и нашлось!

— Какая церковь, какой городничий?

— Из второго тома фраза вырвалась, — чуть даже и смутился Гоголь. — Может, скоро и услышите оттуда кое-что...

— Жду с нетерпением!

— Кстати, о городничих. Ваш городничий в Малом Ярославце мне понравился, познакомиться пришлось.

— Да, да, — кивнула она. — Добрый человек и неглупый весьма.

— Надо же! — Гоголь и тарелку с бисквитом поотодвинул. — Я то же самое о нём подумал, слово в слово!

— Думать, как вы, большая для меня честь. Боюсь, что и не по чину.

— Ну, ну, не скромничайте! Уж чем-чем, а умом вас Бог не обделил. — Он помолчал и добавил, будто спохватившись: — Как, впрочем, и красотою...

— И добротой, — продолжила она, смеясь.

— И добротой, — кивнул он.

— На этом и остановимся, пожалуй? Полный получился набор!

— Да, набор полный... — Гоголь вздохнул. — Ну, а если всерьёз, то какживаете, милый друг?

— Предыдущее, значит, не серьёзно было... Да не возражайте, я же шучу. Как поживаю? Как видите...

— Вижу пока только хорошее. И в вас, и в дочерях ваших. Славные девицы.

— Девицы всякими-разными бывают... А о себе могу кое в чём и признаться. — Она сделала важное лицо. — По-гречески, дорогой Николай Васильевич, учусь.

— Вот так-так! Умница!

— А я думаю — не дура ли? Но уж очень захотелось отцов святых прочитать по вашему же совету. Да не в переводе, в подлиннике. Поздновато затеяла, конечно.

— Нет и нет! — горячо возразил Гоголь. — Никогда ничто поздно не бывает в делах душеполезных, это одна из любимых мыслей моих. Да и по вере христианской так выходит. Можно ведь за минуту, за мгновение до смерти в грехе каком-нибудь большом искренне и глубоко раскаяться и другим уже человеком перед Богом предстать. Поздно! Я вот в первом томе “Душ” Россию с тёмного конца показал, а теперь, во втором, хочу показать со светлого, а прежде это светлое хоть чуть-чуть в жизни увидеть. С тем и к вам приехал, и помощи посильной у вас в том буду просить. А вы что же мне скажете — поздно?

— Не скажу, Николай Васильевич, а счастлива помогать буду. Только это другое совсем. От вас второго тома вся Россия ждёт, а я со своим греческим кому же нужна?

— Мне, — сказал Гоголь просто. — Хотя бы мне одному...

3

Гоголь использовал каждую возможность походить по Бегичеву и жизнь крестьянскую, русскую именно, понаблюдать. Сильнее всего его поразило то, как мало она была ему знакома. Не знал он толком ни крестьянских работ, ни самих крестьян, ни строя и лада той жизни, которая во дворах и избах шла-кишела. Впрочем, и малоросскую знал немногим лучше. А писал о ней как? В “Вечерах” и хутор, и люди в нём, воображением одним созданные, условные, сказочные почти, в “Душах” лишь кучера да лакеи, а из мужиков крестьян бестолковые дядя Митяй с дядей Миняем, которые троек сцепившихся развести никак не могли... Так как же второй том писать и завершать, жизни русского крестьянина-хлебопашца хорошенько не зная? Он ведь основа всему, на нём Россия стоит-держится! Сам Христос в хлеву родился, в ясли овечьи был положен, вол его своим дыханием согревал. Именно крестьянский быт Сына Божьего в самом начале Его земной жизни приютил. Вот и узнавай этот быт, насколько сил и разума хватит, и покажи потом. Да не с усмешкой, а с уважением глубоким. У Аристотеля, кажется, сказано, что есть в человечестве два сословия высших — философы и хлебопашцы...

На третий день жизни в Бегичеве, после завтрака, он прошёл неторопливо через всё село. Встречались ему и ребяташки голопузые, и бабы с за-

моренными лицами, и старики седоголовые и седобородые. Он разглядывал их внимательно и невольно стыдился этого, как занятия праздного, и урезонивал, успокаивал себя. Для дела ведь, для тома второго! Ему и в избу какую-нибудь поплоче хотелось зайти, да как? Воды разве попросить напиться? Но ведь если на него, мимо идущего, все встречные, кланяясь, смотрели, как на диковину, то что же будет, если он во двор, в избу зайдёт?

Миновав село, он не удержался и зашагал вперёд по дороге: уж очень день знойный был приятен, уж очень поля, лежавшие вокруг, были милы. Поле слева покрывали сложенные из снопов суслоны, а поле справа косили трое косарей. Когда они приблизились, он хорошо их сумел рассмотреть: парня юного, круглолицего, мужика матёрого и старика. Старик, казалось, косил легче, свободнее всех, аккуратно откладывая косой с крюком на сторону, в ровный ряд, пучки ржи. Лица косарей, такие разные, одинаково блестя на солнце от пота. В поте лица будешь добыть хлеб свой, мелькнуло у Гоголя библейское. Они-то истинно его в поте добывают, а он? А у него свой пот, невидимый. Сколько его над бумагой пролито! Не ленился на ниве своей бумажной, уж это-то твёрдо можно сказать!

На обратном пути, перед спуском в неглубокую лощину Гоголь увидел на её дне лошадь, телегу, ворох рассыпанных по земле снопов и мужика, снующего среди них. Приближаясь к мужику, он невольно замедлял шаг и чувствовал всё большее смущение. Мимо пройти, профланировать, было нехорошо. Помочь? Но какой же из него в таком деле помощник?

Заметивший его мужик замер, да так и остался стоять растопыркой — тощий, длинный, весь какой-то перекошенный, с чёрным, обгоревшим лицом и чёрной, как смоль, бородой.

— Бог помочь! — сказал Гоголь, остановившись.

— Спасибо, барин, — мужик резко дёрнул головой, кланяясь. — Ты откуда взялся?

— Гуляю просто.

— Баре в поле не гуляют, баре в парке похаживают. Тут же тебя воробы заклюют.

— Тебя же не заклёвывают?

— Я чёрная кость, я им неподатливый.

— Помочь тебе, похоже, надо?

— Чего? — протянул мужик изумлённо. — Ты своё дело знай, гуляй себе. Баре мужикам не помогают.

— И баре, и мужики — все люди, — сказал Гоголь, чувствуя странную, мучительную неловкость. — Значит, помогать друг другу должны. Снопы, скажем, уложить...

— Да ты кто такой? Из церковных, что ль? По волосам-то похож, а по одежде, так и нет. Иди, иди себе с Богом! Помочь он вздумал, а мне отвечай потом, — усмехнулся мужик.

— Шутишь, дядя? А я-то всерьёз говорю.

— И всерьёз нам не надо. Снопы ему носить... Ты самого-то себя до дому в целости донеси, не урони... У Смирновых живёшь? Гувернат, что ли?

— У Смирновых, да, погостить заехал.

— Вольная птица, значит. — Мужик посмотрел с новым, пристальным интересом. — Да и важная, небось кого попало не позовут, не такие господа... Глянь-кось, глянь! — воскликнул мужик, протягивая руку.

Гоголь оглянулся. По дороге быстро шёл, извиваясь, высокий, тонкий смерч, полный пали и сора. Странно, что он точно по дороге шёл на них, не отклоняясь, не сворачивая. Они оба смотрели на него, как замороженные. На великана похож сказочного, успел подумать Гоголь. Смерч взьерошил разбросанные по дороге снопы и тут же их с мужиком охватил со всех сторон, затормошил, затрепал, сблизил, столкнул почти, осыпал прахом земным. Гоголь согнулся, закрывая лицо руками, и мгновенное чувство внезапной, страшной беды дрогнуло у него в душе. Смерч миновал, а они с мужиком всё смотрели ему вслед и молчали. Он же свернул на сжатое поле, съёжился и исчез, растворился в желтизне стерни.

— Как собаку на нас спустили, а, барин? — сказал мужик. — Ты-то целый хоть?

— Слава Богу...

Посмеялись, глядя друг на друга, и лишь тогда Гоголь вполне почувствовал, что они не барин с мужиком, а просто два человека, взъерошенные и грязные.

— А ведь он и унести могёт, — сказал мужик. — У нас было — дерево целое переломил и далёко забросил. Случись такой, полетели б мы с тобою со снопами вместе...

— Это уж совсем огромный должен быть.

— Огромный, да... — Мужик помолчал и вдруг подмигнул с хитринкой. — Помогать-то не расхотелось ещё? Ну, тогда снеси снопок-другой, раз душа того просит. Всё одно, теперь грязнай. Вот так вот бери и головой его к переду на телегу клади...

Стараясь не отставать от мужика в укладывании снопов, Гоголь быстро почувствовал одышку и остановился передохнуть.

— Шабаш! — сказал мужик. — Унял душеньку, и будя! Да ежели б не вихорь, я б тебе и того не дал, баловство это одно... — Он осмотрел Гоголя с головы до ног. — Спереди-то сам обтряхнись, а сзади я обобью...

Хлопки мужика и по плечам, и по спине, и пониже спины были жёсткими, даже и больноватыми, но чем-то Гоголю и приятными.

— Ну вот, хошь бы и под венец! Прощевай, барин, спасибо тебе.

— И тебе спасибо!

— Мне-то за что?

— За науку...

За науку, повторил про себя Гоголь, поднимаясь из лощины на косогор. Сорвалось с языка, а ведь и правда в этом есть. В том и есть, что побыл-поговорил с человеком, поразглядел его, насколько смог. Интересный мужик! И добрый, и злой, и хилый, и крепкий, из жил одних скрученный. А ещё и смыллив, и насмешлив, и заботлив. Главное же, раб крепостной, а свободен как в разговоре, повадке, взгляде прямом. Вон сколько всего набирается всякого-разного, противоречивого, как и в самой России...

Впереди над Бегичевом поднималась грозная, иссиня-чёрная туча. От брюха её вниз, к земле тянулись какие-то белесые, перекрученные жгуты, и, глядя на них, Гоголь вспомнил вдруг слова мужика о дереве, смерчем унесённом. Да, подумал, из такой громады такой вихорь может родиться, что не только деревья, но и само Бегичево унесёт невесть куда...

На главной аллее парка, ведущей к дому, он столкнулся с хозяйкой.

— Откуда вы? — удивилась она. — Господи, да что это с вами? Потёки какие-то на лице, волосы тоже...

Она оглядывала его с такой встревоженностью искренней, что Гоголю почудилось, будто ему, ребёнку, мать выговаривает за неисправность в одежде или поведении. И была в этом и виноватость, и некая сладость давняя, полузабытая...

— Да у вас и соломинка в волосах! — Она приблизилась вплотную, руку к его голове протянула, и он увидел крупно и глаза её бархатно-чёрные, и губы полуоткрытые с трещинкой на нижней. — Вот вам, держите!

Он взял соломинку, молча улыбаясь. Ему хотелось, чтобы она продолжала укорять его, а он бы слушал, в смысл слов толком не вникая, лишь чувствуя заботу её и любовь...

— Где вы были и что делали, отвечайте!

— Гулял всего лишь. Да мужику попутному снопы на телегу уложить помог.

— Так вот оно что! Дело благое, но представить вас за ним никак не могу.

— Не такой уж я беспомощный и безрукий, как вы, может быть, думаете. Этот жилет, кстати, собственноручно в Риме сшил, материя очень уж приглянулась.

— Портняжка какой храбрый! Я-то, признаться, лентяйкой была бы великой, если б не ваши поучения. Царствовала бы себе в Калуге, лёжа на бо-

ку. А вместо того чем только не занимаюсь! Поверите, даже в дела дома ушлишённых вмешиваться пришлось. Целую ревизию учинила и надзирательницу-воровку уволить заставила. Редко что меня так возмущало — людей, Богом обиженных, ещё и обирать!

— Бог никого не может обидеть, — сказал Гоголь. — И мы на него обижаться никак не должны. Само безумие не Божий ли дар порой? Юродивые ближе к Богу стоят...

— Посмотрели бы вы на этих блаженных в больнице! — Она вздохнула. — За себя, за свой рассудок страшно делается. Да и давно уже, признаться, с первых родов...

Гоголь помрачнел.

— От Бога всё надо смиренно принимать, даже это, — сказал он. — А безумия кто ж не боится? Помните, у Пушкина: “Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и сума?..”

— Ещё бы не помнить!

— Так это Пушкин! С его трезвостью, ясностью, твёрдостью, а о нас с вами что уж и говорить...

* * *

Предложение посетить Полотняный Завод, бывший неподалёку от Бегичева, Гоголя обрадовало. Всё, связанное с Пушкиным, напоминавшее его, всегда прилив силы, бодрости вызывало. Даже окружающее при этом менялось, теплей становясь и светлей. При одном имени — Пушкин — чудилось, что солнце вдруг проглянуло в пасмурный, унылый день, а этого всегда жаждала его, вечно в глубине своей холодная, лунная какая-то, душа...

Пушкину он был представлен Плетнёвым, восемнадцать целых, Боже мой, лет назад. И как робок, стеснён, жалок был тогда в своём фрачишке потёртом, с галстуком красным, на последние деньги купленным. И с какой жадностью самозабвенной наблюдал за Пушкиным и спохватывался, боясь быть застигнутым за этим занятием неприличным. Но ведь и освоился быстро, далее и до бестактности порой. В то же лето, живя в Павловске, просил мать писать ему на имя Пушкина, в Царское Село. А в одном из первых своих писем имя жены его перепутал, Надеждой назвал. И теперь вспоминать всё это стыдно.

Работа в “Современнике” пушкинском сблизила их более всего, едва ли не первый был он там сотрудник. “Нос”, всюду отвергнутый, напечатал, “Владимира третьей степени”, статьи многие. Бывал у Пушкина часто, читал только что написанное. Тот хохотал над “Женитьбой”, хвалил “Ревизора”, смеялся над первыми главами “Мёртвых душ” и сказал, всё прослушав: “Боже, как грустна наша Россия”.

Весть о смерти Пушкина настигла его за границей, едва не раздавив страшной своей тяжестью. Его жизнь, его высшее наслаждение умерло с ним. Его светлые минуты были минуты, когда он творил, а когда творил, то видел перед собой только Пушкина. Ничто ему были все толки, он плевал на презренную чернь, известную под именем публики, ему дорого было его вечное и непреложное слово. Даже сюжеты “Ревизора” и “Мёртвых душ” Пушкин ему подарил, они и его создание отчасти. С детства, с первого чтения, Пушкин взошёл над ним, как солнце, и светил потом до самой своей смерти, понуждал расти, вверх тянуться, верить в прекрасное и высокое. В Музу священную, в Слово Божественное. Он же и суд высший, непогрешимый всегда был.

Какое ужасное одиночество наступило, когда первое ошеломление припустилось. Пустыня! И ещё тяжесть невыносимая на плечи легла — литература русская. Вместо Пушкина он её на себя принял, и надо было теперь держать и нести...

В первом посмертном номере “Современника” напечатали на заглавном листе стихи пушкинские, которые прочёл так, будто к нему именно они обращены были. Особенно последние строки, вновь и вновь вспоминавшиеся в

трудные минуты всю последующую жизнь: “Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденья, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи”.

Если же с самим собой вполне откровенным быть, то он так и не оправился до конца от того давнего сокрушительного удара — смерти Пушкина. Что-то надломилось в нём да и не срослось. Какая-то язвочка тайная возникла в душе, мучила, кровоточила, то больше, то меньше, вполне так и не заживая. При жизни Пушкина он чувствовал себя словно бы под крышей, кровом надёжным, а без него оказался на ветру, на холоде, в пугающей темноте. Порой такие минуты отчаяния и тоски одинокой находили, что хоть бы и умереть... Особенно в 46 году в Вене и в 45-м во Франкфурте. А живи тогда Пушкин, пусть не рядом, пусть далеко, в России, можно было бы хоть мыслью к нему обратиться, совета попросить. Да что там, одно сознание, что он есть на свете, поддержать могло...

* * *

В Полотняный Завод выехали утром. Щегольская, лакированная коляска, запряжённая парой, быстро и мягко катила по наезженной дороге. Гоголь сидел рядом с Александрой Осиповной, и ему было так хорошо, как редко когда бывало. Он любил прогулки именно с ней вдвоём, памятные и по Риму, и по Парижу, и по Петербургу. Они и пешком хаживали, и в экипажах езживали, и всегда ему было с ней легко: и говорить о самых разных разностях и, главное, молчать.

День был прекрасный, тихий, безоблачный, налитый до краёв сухим зноем середины лета. Пушкинский был день, и Гоголь вспомнил, как хаживал пешком из Павловска в Царское Село к Пушкину летом 31 года, и как тот хвалил тогдашнюю, редкостную для тех мест, жару.

По сторонам дороги тянулся лес, то угрюмо-тёмный, еловый, то празднично-пёстрый, берёзовый, и вдруг поле ржаное открылось с крапом васильков и ромашек среди густой желтизны. А вот и телега, гружённая снопами, показалась из-за поворота дороги. Гоголь покосился на Александру Осиповну: ну точно, она откровенно смеялась, глядя на него. Мужик, шедший рядом с телегой, забеспокоился, задёргал вожжами, и она крикнула кучеру:

— Семён, на обочину съезжай да подальше!

Кучер взял далеко вправо, и коляска объехала оставшуюся на дороге телегу и низко поклонившегося мужика.

— Ах вы моя умница! — воскликнул Гоголь.

— А что же мне делать было? — отозвалась она весело. — Ждать, когда ваша история со снопами повторится? Да ещё, может, в ней и поучаствовать?

— Хороши бы вы были в обнимку со снопом!

— Думаю, что и не дурна. Я, кстати, даже и любила самую простую работу, — когда у бабушки в детстве жила. Снопов не вязывала, не буду врать, а кое-что по дому делала-таки. Потом, в институте, даже и скучала по этим занятиям, пока не избаловалась.

— Так это же в природе человеческой заключено — потребность двигаться, работать. Пушкин как любил ходить, да ещё и с палкой своей железной, тяжелой. Говорил, что без движения на него хандра находит.

— Я знаю. Замечала даже, что он и на мужиков работающих едва ли не с завистью поглядывал.

— Что ж, — сам Христов плотницкую работу работал, ежели в семье плотника жил. Пока проповедовать не пошёл, во всяком случае.

— Пожалуй... Мне и в голову такое никогда не приходило.

— Простая работа — святая работа, — сказал Гоголь тихо и значительно.

При езде через деревню, особенно серую при ярком солнце, коляска заковыкалась на ухабах, и они замолчали надолго. Гоголь смотрел на нищие избы, на ребятишек, возившихся у их порогов в пыли, на бабу у колодца,

на хмельного мужика, бредущего серединой улицы... А вот и церквушка появилась с похилившимся крестом, а вот и погост с косо торчащими в разные стороны крестами... Пушкин-то в Святых Горах своих любезных в землю лёг, у стены церковной. Прах в земле, в месте славном, а душа? В раю? Тяжеленько будет ей туда попасть, грехов бремя немалое. “Гавриилиада” главный грех духовный, письменный. Разве что по молодости простится да по милосердию Божию великому. Сам-то он не очень, кажется, об этом тревожился, творец творца не обидит, говорил. Хотя как знать, что бывало с ним в ночи тяжкие, бессонные? Написал же: “И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклиная...” И удивительно закончил, с мужественностью твёрдой: “Но строк печальных не смываю”.

Александра Осиповна, глядя на церковь, а потом на погост, тоже Пушкина вспомнила и подумала о том, как много в нём было жизни и огня. Казалось, никогда он не сможет погаснуть! Бывало, на балу взглянет в глаза, и такая в них искра мелькнёт острая, горячая, что озноб идёт по коже. Чудилось, вот-вот протянет руку, коснётся, обнимет крепко... Почти до головокружения морок этот доходил. И всё ушло, погасло, всё под землёй, в земле, земля. А душа к Богу пошла, и там ей не будет худо. Что бы ни говорили про жизнь его грешную, но любви в нём много было, не только земной, но и небесной, а за такую любовь всё прощается. Да ты не себя ли заодно к этой мысли примериваешь, подумала она, усмехнувшись. Что ж, может быть, и себя. Тогда заодно и уход свой из этого мира прекрасного примерь. Она представляла, что вот так же будет солнце ласково светить, трава зеленеть с цветами яркими, мелкие птички перелетать дорогу, большая птица парить над землёй, а её среди всего этого не будет, и передёрнула плечами, как от мороза. Хоть и тяжела, почти невыносима порой жизнь, но ведь и дорога мила до боли. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, пушкинские слова. Уж он-то понимал в жизни толк, знал самый её центр, самую закваску главную. Вот и мысли, вот и страдай! Это тебе в полной мере отпущено...

* * *

Показался Полотняный Завод. По сторонам дороги потянулись хибарки, хижинки, избышки заводских рабочих, и Гоголь подумал, что совершенно не знает их жизни. А ведь фабрики и заводы, как грибы, растут, работников становится всё больше, вот и разузнавай при случае про их жизнь, если теперешнюю Россию изучать начал. Здесь-то вряд ли что узнать придётся, в Калуге разве... Проехали широкую, основательную плотину, по одну сторону которой был большой пруд, а по другую сток бурливый. Потом пошли красно-кирпичные заводские корпуса с чёрными высокими трубами, из которых валил тоже чёрный, тяжёлый, вниз клонящийся дым. Гоголь попытался представить внутренность этих корпусов, и ему померещилось что-то тесное, душное, оглушительно-шумное, сырое, грязное и среди всего этого люди заморенные, темнолицые. А выходит отсюда из рук работников бумага белейшая, лучшая, как Пушкин говорил, в России. Они же, писатели, её потом марают, только вот на пользу ли?

Перед въездом в усадьбу, у высоких, массивных ворот, Александра Осиповна приказала остановиться.

— Ох, как не хочется мороку визитную затевать! — сказала она. — А вам?

— Просто смерть! Едва представил, и мурмурашки по спине побежали!

— Как-как? Мурмурашки? Это что ж такое? С чем их едят?

— Это те же мурашки, только похлеще. А едят их “с таким”.

— Что за зверь такой этот “так”?

— Не слышали вы разве поговорки: бублик с маком и бублик “с таким”.

Или, можно сказать, с “ничем”.

— Чудесно! И мурмурашки и “так” этот! А всего лучше — с “ничем”! — Она вдруг посерьёзнала и помолчала. — Знаете, мне иногда кажется, что я теперь и жизнь-то живу вот именно, что с “ничем”. “С таким”.

— Да это и быть должно. Всё здесь, в земной юдоли, лишь так.
 — А мак там? — чуть усмехнувшись, она подняла руку.
 — Будем надеяться...
 — Будем. Пока же авантюрное дело предложить вам хочу. Давайте-ка мы никакого визита делать не будем. Я, кстати, даже и не знаю, кто здесь сейчас живёт. Войдём, людей врасплох застанем, переполох начнётся. За стол потащат, потом по парку поведут, как под стражей... Лучше мы, никому не объявляясь, погуляем сами по себе, посмотрим, что придётся. Авось проскочим незаметно. Вы как?
 — Только об этом и мечтал! Ну, а вдруг изловят? С меня-то как с гуся вода, а вам неловко будет.
 — А-а! — отмахнулась Александра Осиповна. — Я дама с причудами, все это знают. Одной больше, одной меньше...
 Огромный, трёхэтажный дом стоял необычно, в низине у самого пруда и казался необитаемым. Во дворе не было ни души, и они пошли прямо к парку.
 — Какая, однако, махиница, — сказал Гоголь.
 — Пушкину от этого радости немного было. Два раза всего тут и побывал, кажется. Вам-то не очень жаль, что изнутри дом не посмотрим?
 — Нисколько. О мёртвых лучше всего среди природы вспоминать, она лишь со смертью примиряет. Помните: "...и пусть у гробового входа младая будет жизнь играть, и равнодушная природа красую вечною сиять".
 — А я наизусть его стихов не так и много знаю. Про себя разве, — усмехнулась она. — Прочитать?
 — Сделайте милость!
 — Пушкин мне в альбом это вписал, наподобие эпитафии к моим будущим "Запискам":

*В тревоге пёстрой и бесплодной
 Большого света и двора
 Я сохранила взгляд холодный,
 Простое сердце, ум свободный...
 И правды пламень благородный,
 И как дитя была добра;
 Смеялась над толпою вздорной,
 Судила здраво и светло,
 И шутки злости самой чёрной
 Писала прямо набело.*

— Спасибо, — сказал Гоголь. — Чудесные стихи! А как вам характеристика ваша? Согласны?
 — С гением как не согласиться? — развела она руками. — К тому же похвала одна...
 — А злость чёрная?
 — Сказано, шутки злости, а это не то, что просто злость. Злой я никогда не была, уж поверьте.
 — Не то, что верю, а знаю, — сказал Гоголь твёрдо.
 — Стихи и вправду чудесные, но ведь и ещё кое-что есть, вы, пожалуй, и не читывали. Но это так, кусочки.
 — Прочтите, ради Бога!
 — Извольте:

*Она мила — скажу меж нами —
 Придворных витязей гроза,
 И можно с южными звездами
 Сравнить, особенно стихами,
 Её черкесские глаза.*

— И всё?
 — Нет, это лишь начало. Дальше: про глаза Олениной, которые моих

получше. Ну это, вы понимаете, я уж никак запомнить не смогла! — Она рассмеялась весело. — А вот вам и ещё заодно:

*Черноокая Россети
В самовластной красоте
Все сердца пленила эти,
Те, те, те и те, те, те.*

— В самовластной красоте... — задумчиво сказал Гоголь. — Да, красота — это власть. И искушение.

— Везде-то вы искушения видите! Ну, какое же искушение в цветах этих прекрасных, в бабочке этой? Смотрите, смотрите, прелесть какая!

— Прелесть... — повторил Гоголь. — Но прелесть-то к греху ведёт. Прельщение человек... Прельстился да и согрешил.

— Николай Васильевич, пощадите! — воскликнула она жалобно. — Уж здесь-то, в месте пушкинском, не будьте суровы! Вспомните, как он прелесть мира любил и воспевал! И нас, дочерей человеческих...

— Что ж вспоминать, только что слышал про одну из них. Воспевал, да... Но вы иного, возможно, не знаете. Как он мучился в конце жизни, как каялся, как очиститься хотел. Да вот вам: “Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный гонится за мною по пятам... Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий”. Это, кстати, и про меня написано. Ко мне-то покойник стихов не обращал, но я многое к себе примеряю...

— Но вы такие разные! Вам трудно на свете живётся, а он жил и писал легко.

— Легко! Труднее трудного эта лёгкость. Как он ни метался в чаду страстей, но поэзия всегда была для него храм. Никогда он не входил туда неприятный и неприбранный, не вносил действительности растрёпанной. А между тем всё в его поэзии есть история его самого. Легко! — повторил Гоголь с укором и строгостью. — Какие вещества перегорели в его душе, чтобы читатель уловил одно лишь благоухание, это только он один знал.

Давно не чищенная, полузаросшая травой аллея закончилась поляной с беседкой на чугунных высоких столбах. Из неё был виден спуск к реке по узенькой, извилистой тропинке. В беседке Александра Осиповна присела на лавочку, а Гоголь остался стоять, задумчиво и пристально глядя на реку.

— Как же он за границу хотел вырваться! — сказал наконец. — Да вот не пришлось, а может, и не надо было...

— Почему?

— А потому, что он, из России не выезжая, дух страны иной чудом каким-то постигал. Про Грецию пишет — он грек истинный, про Испанию — испанец, про Францию — француз. А побывал бы там, своё, глядишь, и испортилось бы, замутилось. Хотя, возможно, он за границу рвался ещё и затем, чтобы Россию издалека, со стороны яснее увидеть и понять. Да и писал: “...под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России”.

— Может, и вы по этой же причине от России вдали подолгу живали?

— Может быть... А вот что Александр Сергеевич, тёзка ваш, в этой беседке бывал, на скамейке этой сживал, так это уж точно, — улыбнулся Гоголь.

— Забегал, конечно. Долго-то не мог на одном месте сидеть, слишком был живой. Ртуть настоящая!

Она вспомнила, как навещала Пушкина в Царском Селе, жарким летом, вскоре после женитьбы. Как он был весел тогда, по комнате, смеясь и болтая, расхаживал, на балкон выбегал, возвращаясь тут же. Сказки в ту пору писал да и читал им с женой, уверяя, что их критика лучше всех. Видно было, что красавица жена ревновала его немного, а он тому только рад был. К их разговору оживлённому ревновала, в котором мало принимала участия. Умна ли она была, вот вопрос, который приходил в голову часто. Может, труда себе такого не давала — умной быть? Могла себе такое позволить при её-то красоте...

Сообщение о смерти Пушкина, в Париже полученное, пронзило прямо-таки. Разрыдалась горько и потом плакала не раз. Невосполнимая была для неё потеря. Представляла по рассказам положение его в последнее время перед смертью, и он казался ей волком затравленным, который от обלאвы уйти пытался да на роковой выстрел и наскочил. Даже друзья обстоятельств жизни его не поняли и не уберегли. А жена, что ж, оказалась, скорей всего, без вины виноватой. Любила ли его? Себя лишь, пожалуй, позволяла любить. Трудненько ей пришлось в первые годы вдовства, здесь, в Заводах, одной с четырьмя малыми детьми. Хорошо хоть Государь долги заплатил и пенсион назначил. Может, не только из-за Пушкина, но и из-за неё самой — всегда задерживал на ней глаза свои светлые, грозные. Да и замужество следующее, на редкость удачное, не его ли отчасти дело? Какой в карьере прыжок муж её новый Ланской сделал, без воли Государя почти и невозможный. Живут же они, по слухам, очень дружно. Вряд ли была Наталья счастлива с гением поэзии, а с командиром полка гвардейского, придворного, глядь, счастье и нашла...

Гоголь стоял к Александре Осиповне боком и со своим особенным, длинноносым лицом, спиной сутулой напоминал большую нахохлившуюся, больную птицу. У неё защемило сердце от привычной уже жалости к нему. Горька пушкинская судьба, но и у него немногим слаще. Один-один, лишь муза рядом. Вдохновляет, а больше того мучает. И как худ, бледен, изнурён! Надо его хоть в пору гостевания этого подбодрить, повеселить, насколько сил и возможностей хватит...

— Давайте-ка к реке спустимся, Николай Васильевич! — предложила она. — Посмотрим на воду поближе. По мудрости одной восточной, чтобы здоровым быть, надо на текущую воду смотреть почаще, на зелёную траву и на красивых женщин.

— Что ж, полный набор всего этого имеется, — сказал Гоголь нарочито светским тоном и тут же добавил просто: — Река, знаете ли, жизнь человеческую чем-то напоминает — всё та же она каждое мгновение, и все иная...

Они выбрали удобное место на невысоком, обрывистом берегу и уселись. Гоголь при этом так долго пристраивался, размещая то так, то эдак свои ноги, что Александра Осиповна расхохоталась:

— Вы так садитесь, будто у вас не две ноги, а целых четыре!

— Ах, как хорошо! — воскликнул он. — И что же это вы “Записки” свои никак не начнёте? Грех, милая, просто грех! И Пушкин вас о том просил, и Жуковский, и аз, грешный. Жаль, что вы Жуковскому отказали когда-то, уж он бы вас принудил, мужем будучи.

— А я теперь только поняла вполне, почему, — сказала она серьёзно. — Потому, что я, по его же словам, дьяволёнок, пусть и небесный, а вот он — ангел. А как прикажете ангелу с дьяволёнком жить?

— Не такой уж он ангел. Как скажет порой словцо, трижды пересоленное, так и уши вянут.

— Это же он маскирует просто натуру свою ангельскую, как вы не понимаете? А добр так, что, боюсь, всё раздаст и по миру пойдёт. Помню, обе императрицы убежали, его завидев — непременно денег для очередного несчастенького будет просить.

— Для меня, например, — усмехнулся Гоголь.

— Что ж, и для вас просил со мною вместе. А ещё, знаете, как он маскировался? Письма подписывал: Бык. — Она фыркнула невольно. — Ну, какой он бык, посудите сами. Голубь белый.

— Пожалуй, вы и правы, — кивнул Гоголь. — Мудреете, милая, год от году.

— С кем поведёшься... А лучше всех меня всё-таки Вяземский понимал. После вас, разумеется.

— А Пушкин?

— Пушкину не до того было.

— Гений с одного взгляда истину постигает.

— Возможно... Так вот, Вяземский как-то меня мне же разъяснил, а я и согласилась и до сих пор кое-что помню. Живость, говорил, во мне, чут-

кость и тут же южная лень. Из одного глаза ангел смотрит, а из другого бес. Эдакая смесь противоречий, но гармоническая. То академик в чепце, то простушка сельская... Как это вам?

— Недурно, особенно про простушку... Нет, нет, я всерьёз вполне. И у Пушкина такое было — простодушие чудесное при великом уме. А меня этим Бог не наградил, к сожалению. Потому, может, так мне и трудно...

Она невольно положила свою горячую руку на его, странно на жару холодную, и тут же убрала её. Душой лишь они сближались, прикасались друг к другу, а телом нет. Даже и представить было невозможно объятие, поцелуй...

Река перед ними не текла, а, казалось, лежала просто-напросто в дремоте глубокой и сладкой, порой потягиваясь чуть-чуть: то рябь пробежит мимолётная, то волна плеснёт редкая, случайная, то круги пойдут бесшумно и улягутся, сольются с гладью воды. Вот птичка, крохотная, жёлто-серая на камышинку села и сидела, покачиваясь мерно, будто от этого покачивания задремав, как сама река. Вот белых бабочек стайка пропорхала над водой, напоминая огромные хлопья снега, гонимые ветром. А вот и огромная птица, вытянув вперёд длинную шею, а назад длинные ноги, пролетела вдоль реки, и редкие, сильные взмахи её крыльев были, как шаги по воздуху. И шум их раздавался, мерный, мягкий...

— Цапля, — сказала Александра Осиповна таинственным тоном.

— Может, журавль?

— Нет, цапля, у неё грудь выдаётся углом. Да и не летают журавли над рекой вот так, поодиночке. А до чего хороша! Проплыла, как воздушный корабль.

— А вот эта? — показал Гоголь на крохотную птичку. — Ишь, какие качели себе на камышинке устроила.

— Она камышовкой и зовётся.

— Всё-то вы знаете...

— Всё знаете вы, а я только половину.

— Ну, тогда скажите, могли бы мы вот так всем в природе любоваться, если б не верили, что она творенье Божье? Если б думали, что она просто есть, и всё тут. Ниоткуда взялась и существует “низачем”, как материалисты считают. Могли бы?

— Пожалуй, и нет. Чего-то для полноты чувства тогда бы не хватало?

— И чего же?

— Родства, — ответила она, помолчав. — Для верующего всякая тварь родная, потому что Творец, Отец небесный, для всех один.

— Прекрасный ответ! — кивнул Гоголь.

— Спасибо! Только ведь, дорогой мой учитель, природа не всегда так хороша и благостна, как сейчас. Бывает и ужасна, как в “Бесах” пушкинских: “...домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?” Вот как прикажете такую природу понимать?

— А так и понимайте — бесы разгулялись. В мире-то не только Бог с ангелами, но и дьявол с бесами. И является нам то одно, то другое.

По-над рекой пролетела пара речных чаек, ярко-белых на солнце.

— У нас под Одессой их рыбалками зовут или рыбацами, — сказала Александра Осиповна. — А у вас?

— И у нас, конечно. По российским расстояниям мы ж соседи...

Гоголю было так хорошо с ней, как ни с кем, пожалуй, и не бывало. Легко, светло и спокойно. И как чувствует он её, Смуглянку свою дорогую, как понимает с её натурой горячий, мятежной и тоскующей, с её умом резким, острым, с приступами меланхолии внезапными, которым и сам подвержен. Да, близкая душа, любимая и родная...

Поднялись по той же тропинке от реки и около беседки остановились, глядя на заречную, зелёно-синюю даль. Будут, будут же памятники на Руси Пушкину ставить, подумал Гоголь, вот и здесь бы хорошо! И чтобы сидел спокойно, вольно и в эту даль чудную глядел. Ну, а ты-то памятника стоишь, хоть плохонького самого? Грешно о таком думать, но коли подумалось, то есть и ответ: за любовь, за работу для России беззаветную, пожалуй, что

и да. Главное же, надо свой собственный, нерукотворный, по пушкинскому слову, памятник воздвигнуть — второй том “Душ”...

Когда сядились в коляску, Александра Осиповна обронила со вздохом:

— Господи, есть-то как хочется! Ничего с собой взять не догадалась, на угощение, как водится, понадеялась. Вы тоже, я чай, проголодались?

— Даже и очень!

— А давайте-ка в трактире перекусим, он как раз на въезде мелькнул.

Гоголь покачал головой с сомнением:

— Вы дама важная, вам не к лицу в трактирах сидеть.

— Да ведь вы же меня без конца наставляли: губернаторша должна всё видеть, везде бывать, во всё вникать. Вот и давайте вместе вникнем! Пользу для работы своей получите...

— Уж трактиров попутных я насмотрелся!

— Но это же особенное место, Заводы, село с рабочим людом, мало вам, я думаю, известным. И Пушкина заодно помянем этим посещением, уж он-то вполне трактирным человеком был.

— Ну, разве что Пушкина... Только возьмём лишь по паре чаю, как извозчики делают, да мучного чего-нибудь. Хорошо бы калача горячего.

— Отравиться боитесь?

— За вас боюсь.

В трактире оказалось чадно, дымно, но малоллюдно. Половой средних лет подбежал к ним у самого входа, тряхнул, кланяясь, седоватыми, растрёпанными волосами. Лицо у него было живое, глаза быстрые и цепкие.

— Прошу проходить-с, — проговорил-пропел он. — Вот сюда пожалуйте-с.

Он обмахнул салфеткой два стула и вытер без того чистый стол.

Они сели. Краснолицый буфетчик за стойкой смотрел на них, вытаращив глаза.

— Чего изволите?

— Поросёнок есть? — спросил Гоголь.

— Есть.

— А расстегаи?

— Есть.

— А телятина с хреном?

— Есть.

— Славно, славно... Так принеси же нам, любезный, по паре чаю да по калачу.

Александра Осиповна рассмеялась, а половой замер с выражением растерянности...

— Чего же ты? — обратился к нему Гоголь. — Неси, что сказано, а там посмотрим.

Александра Осиповна сказала, улыбаясь:

— Начнём с конца, а кончим началом, водкой то есть?

— И очень может быть, — кивнул Гоголь важно. — Вы всё меня запретами упрекаете, а я ведь русский, как-никак, могу и разгуляться, ширь души показать.

— Хотелось бы посмотреть на такое! Только вам тогда совсем другим человеком нужно стать.. Дело, как видите, за малым. А вот Пушкина я отлично загулявшим представляю. Хоть в Демутовом трактире его любимом, хоть у цыган, хоть в других местах, куда холостяки навещаются... И в стихах у него восторг, веселье застольное просто брызжет.

— Да, конечно, только в жизни он гораздо мрачнее был, чем в стихах. Редко позволял тоску свою пускать на бумагу...

Показалась половой с подносом, который он держал на одной руке и щегольски покачивал им из стороны в сторону.

— А скажи, любезный, давно ли служишь? — обратился к нему Гоголь.

— Годов с десять.

— А до того что делал?

— На фабрике работал, у чанов стоял.

— Чего же сюда перешёл?

— Тут расчётов побольше да и полегче куда. А там дух тяжёлый и гущину эту в чанах ворочать надо... Хужей крестьянства, света белого не видишь.

— Так, так... Ну, а кто такой Пушкин, знаешь?

— Как не знать! Зятьёк гончаровский был. Да я и видал его в церкви с женой. Она-то, как тростинка, тонка была, а он её пониже и чудной такой!

— Чем же?

— Да как сказать? — Половой замаялся. — Волосья курчавые дыбом и вот тут висья висят... — Он провёл ладонями по щекам. — Я с девчонкой своей был, она и говорит: страшный барин какой...

— Давно ведь было, а как запомнил, — удивился Гоголь.

— Как же, гончаровский зять, не шутка! И ещё этот, как его, поет...

— И что поэт, знаешь?! Это-то откуда?

— Грамоте из детства учен. — Половой помолчал, лоб наморща. — Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутить, — проговорил он особенным, певучим и тонким, голосом. — И про Балду ещё сказку знаю, и про рыбку золотую...

— Вот так-так! Порадовал ты нас, братец!

— Авось я не один тут такой... Слух был, что убили его, Пушкина. Так ай нет?

— Так.

— Это за что ж такое?

— Дуэль была. Поссорились и стреляли один в другого.

— Этого мы не понимаем. У нас кулаки да дубьё об этот случай.

— А, скажи, милый, семья у тебя большая? — вмешалась Александра Осиповна.

— Очень большая. Внуков и не перечесть...

— Как чай, как калач? — спросил Гоголь Александру Осиповну.

— Удивительно хороши! Я и не ожидала, признаться.

— А вдвойне удивительно, что хоть кто-то снедь трактира придорожно-го похвалил. Впервые, по-моему, слышу да ещё и от дамы такой привередливой.

— А вот и нет, у меня как раз простые вкусы. С детства повелось, да и в институте нас вполне просто кормили, без разносолов. Кстати, и Пушкин самое простое любил... Да, на чай же надо оставить служающему нашему побольше, за Пушкина хотя бы.

Когда выходили, половой проводил их до дверей, а буфетчик поклонился так, что едва лбом о стойку не стукнулся. Усевшись в коляску, увидели нищего, и так грязен, так ужасен он был, что Гоголь зябко поёжился. Вспомнилось завещание, написанное в 45 году, когда вот-вот смерти ждал. Просил в нём мать и сестёр всякого странника прохожего принимать в дом и привечать. А потом представил себе вот такого же примерно, да и изменил просьбу, пожалев родных. Написал, что если путник привыкнул к нищенской жизни и ему неловко быть в помещичьем доме, то отвести его к доброправному крестьянину на деревне. А ещё завещал половину дохода за издание сочинений бедным отдавать. Пунктом же первым была просьба тела не хоронить, пока признаки разложения явные не появятся. Всю жизнь страх быть погребённым заживо его мучил и мучает до сих пор... Вспомнилось вдруг, как он у беседки в парке о памятнике себе подумал: можно-де и поставить скромненький какой-нибудь. Хорош, нечего сказать! Ведь в завещании даже над могилой памятник попросил не ставить, а тут вон как разбежался. Что делать, слаб человек и переменчив. Пригнёшь тщеславие в тяжкую минуту, а полегчало, так оно и вновь приподнимается. Бдить нужно неусыпно, не давать греховным помыслам воли.

— Пушкин оставил ли завещание? — спросил он Александру Осиповну.

— Вяземский мне написал, что, умирая, продиктовал записку, кому что он должен, и что я там упомянута. Это единственное его распоряжение письменное. А устно просил Государю благодарность передать за обещание семью его поддержкой не оставить.

— Получили долг?

— Разумеется, — посмотрела она с удивлением. — Так странно было — его уже нет, и вдруг эти деньги... Пустяк совсем, но ведь вспомнил же!

Чудесный день сиял, коляска катила плавно, и Гоголь чувствовал себя как бы между двумя ладонями Божьими — зелёной снизу и сверху голубой. А вокруг Русь... любимая Пушкиным, простиралась необозримо. Любил он её, как мало кто, но и бранил на редкость. Вот и в этом ты его ученик верный, браня, любишь и любя бранишь. Только и есть у тебя в жизни, что Муза да Русь — и не разделить их, не разорвать. Они тебя живут и питают, да друзья, да вот эта женщина рядом. Редкая какая выпала минута! Ничто не мучит, не тревожит, а на душе и грустно, и легко — совсем по-пушкински...

4

Альбом в сафьяновом переплёте, подаренный Пушкиным, был толстым, тяжёлым, основательным. Капитальным, так определил его Гоголь, увидев. И бумага была в нём та самая, которую любила Александра Осиповна: матовая, чуть ворсистая, с голубоватым отливом. На первой странице стоял заголовок, Пушкиным же написанный: “Исторические записки А. О. С.”, а чуть ниже, в виде эпитафии, его стихи. Она прочитала всё слово за словом, наслаждаясь магической особенностью пушкинского почерка. Было в нём нечто лёгкое, стремительное, летящее, душу прямо-таки подхватывающее на крыло. Особенно в столбце стихов — чудилось, что стая птиц огромная зовёт, тянет за собой...

Не раз она хотела свои “Записки” начать, но никак не могла собраться. Теперь пора, если уж сам Гоголь во флигеле рядом работает. Вдруг его вдохновение через стены пройдёт и её хотя бы краешком захватит? Истори-ческие записки, так Пушкин определил, но такими они станут, когда очередь до лиц исторических дойдёт, много их в её жизни встречалось. Начать же надо с детства, с истории собственной, личной, самой важной для неё.

Не беря ещё пера, она ярко представила себе любимую свою Грамаклею. В самых красивых местах за границей та часто мерещилась ей, и казалось, нет на свете ничего милее этой бедной деревушки. Оттуда всё в ней пошло, от первых впечатлений. Никогда не любила сад, а любила поле, не любила салон, а любила комнатку незатейливую, уютную... А как журавли прилетали вечером на сарай... на гнездо, как журавль поднимал одну красную лапку и трепал своим красным же клювом! “Журавли Богу молятся, — говорили тогда, — пора ужинать”. А самым лучшим была там тишина, ничем не возмещаемая, едва водворялась синяя, как бархат, тёплая ночь и с незаметной быстротой зажигались звёзды... А речка, в которой однажды утонул человек, о чём много потом говорили, и всё страшное: как выплывал по ночам и зазывал к себе запоздалых девок. Вот это уже совершенно гоголевское, надо будет ему рассказать... Как он там, во флигеле, то ли пишет, то ли размышляет, то ли сомневается в чём-нибудь мучительно? В Бегичеве работал мало, а в Калуге ежедневно, с раннего утра к конторке становится и работает до самого обеда. Интересно бы взглянуть, как это выглядит, да, жаль, нельзя никак. Бережётся; таинством работу свою считает, как молитву. И прав, пожалуй. “Откуда в нём мир целый, огромный с Вакулой-кузнецом и Акакием-писцом, с Чичиковым и Тарасом Бульбой, с Пульхерией Ивановной и Ноздрёвым? И все живут, двигаются, думают, говорят, и каждый по-своему! Как в себя это вместить и как удержать, вытерпеть? При общении долгом свыкаешься, начинаешь невольно попросту на него смотреть, порой и подтрунивать, а как представишь величие его писательское, так и совестно, и хочется руку ему почтительно поцеловать. Она представила себе такое и улыбнулась невольно... То-то бы испугался да, пожалуй, и убежал... Чего только душа его не вмещает, а сама-то какова? Темна, зыбка, неуловима... Взгляд упал на страницу с пушкинскими строчками, и она вспомнила почерк Гоголя, совсем иной, противоположный прямо-таки всей его натуре, чёткий, ясный, определённый. Можно подумать, что он у Акакия Акакиевича своего

уроки письма брал. Что ж, если в душе зыбкость, то хочется, наверное, — хотя бы в почерке твёрдым быть...

В открытое окно залетел басисто гудящий шмель и исчез тут же. Александра Осиповна вздрогнула, очнувшись. Ежели начинать “Записки”, то и начинать. Не с чего, так с бубен, как Гоголь говаривает. С первого воспоминания, со снега в Одессе, который приняла за маленькие белые перья...

Она писала более часа, то задумываясь надолго, то стремительно гоня перо по бумаге. Это напоминало писание писем, но и отличалось от него сильно. Не было рамок, личностью адресата поставленных, а была свобода полная, было вызывание духов прошлого, которые принадлежали только ей. Самыми же сладкими были те мгновения, минуты, когда она переставала быть собой теперешней, а становилась ребёнком трёх-четырёх лет со всем тем, что окружало её тогда...

Отложив перо, она перечитала написанное. Что ж, неплохо. Живо и явственно, а это главное. Недаром, стало быть, её, кроме Пушкина, и другие настойчиво к “Запискам” побуждали: Самарин, Тютчев... Самарин вторая после Киселёва её любовь. Ах, как был хорош — умён, чист, благороден. Даже к славянофильству склонность получила под его влиянием, хотя и собственная натура тут сказалась, тяга к корням, к почве, на которой росла. Частые же и долгие отлучки в Европу в этом не были помехой, как и Гоголю, и Тютчеву. Тютчев лет двадцать дипломатом за границей пробыл, а Россию любит, как редко кто. Патриот пламенный, хоть и ругает порой родину нещадно. А поэт какой, особенно в лирике любовной! И меж опущенных ресниц угрюмый, тусклый огонь желанья... Вот кто понимает, чувствует Афродиту земную, не Гоголю чета. И как же любят его женщины безумно, просто боготворят. Да какие! Одну жену, красавицу и умницу, похоронил, и вторая ей не уступает. А ведь старик стариком, маленький, высохший. Тайна тут какая-то великая есть. Может, в такой силе его любви, что женщине невозможно на неё не отозваться? Или в том, что человек он мучительно-трагического склада, а мы падки на такое? Это уж прямо по Шекспиру выходит: она его за муки полюбила, а он её за состраданье к ним.

Александра Осиповна взяла альбом, подержала его на ладони и усмехнулась. Тяжёл, но как бы ещё не потяжелел, если в него жизнь свою записать со всеми её горестями, тяжкими слезами ночными, тайными. Но ведь и радостей сколько было, и неясно пока, что перевесит, к концу проясниться должно. Господи, как долга жизнь и как мала одновременно, с воробьиный нос. Сколько ещё продлится, что принесёт с собой? Пушкин писал: “...и, может быть, на мой закат печальный блеснёт любовь улыбкою прощальной”. Хотела бы этой улыбки? И да, и нет. Да, потому что прекрасно, а нет, потому что тяжело. Главное же в том, что глупо такого хотеть и смешно. Не бывает в твои-то годы. А если вдруг и случится, к несчастью, то вся жизнь, которая и без того на живую нитку смётана, затрещит и лопнет... Да это не гость ли вдали за деревьями мелькает?

Толчок радости и тепла, который она испытала, неожиданно увидев гуляющего Гоголя, был ей приятен и сам по себе, и как признак очевидной их близости. Она уже и встала, чтобы присоединиться к нему в такое чудное утро, но вдруг замялась. Что, если он не гуляет для удовольствия и пользы, а работает вот так, на ходу? Мысли и образы свои в х а ж и в а е т, как и выразился однажды? И его работа, результаты которой она знала и надеялась ещё узнать, представилась ей так важна, драгоценна, священна почти, что помешать ей было никак нельзя. Уж если не к вечности она, работа, присоединится, то уж к жизни и истории России наверняка. И не чёрточкой, не примечанием сбоку, а красной строкой...

Александра Осиповна села, а Гоголь исчез, но скоро вновь появился на аллее с другой уже стороны. Она вспомнила, как в Риме и Париже заезжала к нему для совместной прогулки, и как он выходил к ней с таким иногда отрешенным, потусторонним видом, что казался лунатиком, спящим на ходу. И нужно было время, чтобы он в себя пришел вполне, очухался, по его же выражению.

Надо, надо “Записки” свои продолжить непременно, подумала она, чтобы хоть чуть, хоть краешком каким-то к громадной работе Гоголя прикоснуться. И остаться, глядишь, в истории литературы хоть бы и примечанием на полях. Через того же Гоголя, которого видела и знала так близко, как редко кто. А другие многие, и в России, и в Европе!.. Что, голубушка, тщеславие, что ли, зашевелилось — мелькнуло у неё насмешливо. Для женского нет уже пища, так иное подавай? Она прислушалась к себе, стараясь быть искренней. Да, есть и это, но главное другое всё-таки. Жаль будет, если всё пережитое исчезнет без всякого следа. Своего собственного прежде всего жаль, но ведь и того, что в других сумела увидеть и понять, тоже. Она только может об этом рассказать, одна она... Надо записать, чтобы осталось. В пушкинском “Годунове” монолог старца Пимена, чудный такой, как раз об этом. Ещё одно, последнее сказанье, и летопись окончена моя... Она припоминала слово за словом, строку за строкой и вдруг расхоталась. Ай да молодец, ай да летописец в юбке! Славно устроилась как: в саду на даче, в кабинете уютном! А не хотите ли в монастырь, в келью крохотную, холодную? Надо Гоголю непременно рассказать и посмеяться вместе!

Успокоившись, она открыла альбом и на стаю пушкинских букв-птиц вновь полюбовалась. Что ж, посмеяться над собой всегда полезно, а писать-то всё равно надо. Каждый на это право имеет, да не каждому Бог даёт видеть, что она видела. Грех, сказал Пушкин, унести всё это в могилу, и, как всегда, был прав. Много бы потеряно было, если б Екатерина Великая не написала свои “Записки”, а Екатерина “маленькая”, княгиня Дашкова, свои. Вот тебе пример для подражания! А Дашкова и жила почти что рядом, в Троицком, в сотне примерно отсюда вёрст. Удивительная была женщина, ближайшая подруга императрицы, Российской академии президент. Талантов к тому ж сколько имела! А она что имеет и чего президент? Ну, ну, очень-то не прибедняйся, поискать, так и найдётся кое-что... Рассказывали, что рядом с Троицким деревня Гамильтоново есть. Вот как понять без “Записок” Дашковой, с какого дуба английского на русскую деревню название это упало? А в память о леди Гамильтон, которая Дашкову в её имении посетила. Тысячу лет будешь думать, не додумаешься! Так это мелочь, а если вещи покрупнее взять? Нет, надо писать, надо! И не только о дворе, о людях крупных, знаменитых, но и о жизни вполне обыденной. Не только о Петербурге с Москвой, но и о Калуге тоже. Упомянули как-то про речку Ресету, что в губернии Калужской на юге течет, так даже вздрогнула. Почти фамилия её девичья! Это ли не знак родства какого-то тайного, мистического? И об этом надо сказать Гоголю, он в подобные знаки верит и ищет их везде, к себе примеривает...

* * *

На обед к общему столу Гоголь явился в полном параде: в светло-желтых нанковых панталонах, светло-голубом жилете с золотыми пуговками, в тёмно-синем фраке с большими золотыми пуговицами да ещё и в белой пуховой шляпе напридачу. Александра Осиповна давно не видывала его таким принаряженным и развела руками:

— Вот так да! Ослепяете просто блеском своим! И по какому случаю?

Гоголь выглядел и смущенным, и довольным одновременно.

— Случай один — воскресенье нынче, — ответил он, снимая шляпу и ища, куда бы её положить.

— Сюда вот, на подоконник, — подсказала она. — А я, признаться, и не вспомнила, что воскресенье.

— То-то и оно! Сколько раз вам и говорил, и писал — непременно воскресенье отмечать надо. И в душе, и даже внешне. Хотя для вас второе мало имеет смысла, вы и без того нарядны всегда так, что больше некуда.

— Это что же, комплимент или упрёк?

— Как хотите, так и понимайте.

— Поскольку вы до комплиментов не большой охотник, то понимаю как упрёк... А вот и хозяин, и за стол сразу сесть можно!

Она посмотрела, как муж и Гоголь обменялись поклонами и рукопожатием. Муж выглядел очень приветливым, улыбка так и сияла на его холёном лице. Он был постарше Гоголя, но выглядел явно моложе. Что ж, подумала Александра Осиповна, управлять губернией, видно, полегче, чем великие книги писать.

— Сядем, но не сразу, — сказал муж и указал рукой на маленький столик в стороне от большого, на котором стояло несколько графинов. — Прощу, Николай Васильевич! Рюмку для аппетита...

— Не пью, Николай Михайлович, вы же знаете.

— Знать — знаю, а предложить обязан. Пушкин, кстати, тоже этого зелья не употреблял почти. Шампанского разве бокал-другой. Голова у него от выпивки болела.

— Жаль, что у тебя не болит, — усмехнулась Александра Осиповна.

— Э-э-э, нет! Водка, знаешь ли, кровь полирует...

— Чего только не выдумают, чтобы пьянство оправдать. Кровь полирует, ну надо же! А, Николай Васильевич?

— По-моему, сказано хорошо, — ответил Гоголь.

— Да как же она полирует, если люди, выпив, с кулаками друг на друга кидаются?

— Ну, это мужики да купцы, а для нашего брата дуэль, — сказал муж. — Александр Сергеевич покойный больше десятка раз на неё выходил, а ведь пьян никогда не был. Так что не в том суть, матушка...

Они ведь с Пушкиным приятелями были, подумала Александра Осиповна, пристально и как бы издали глядя на мужа. Большой твоему благоверному в этом плюс выходит. И с другими, пушкинского круга, общался часто, а туда без разбора не принимали. Не так уж он, пожалуй, и плох, муженек, как порой выглядит. Андрей Карамзин, помнится, рассказывал, что как-то в споре горячем назвал Пушкина самым замечательным человеком России. Сообразил-таки...

Принесли окрошку с квасом, и Гоголь воскликнул обрадованно:

— О, любимица моя! И какими глазами огромными, призывными смотрит!

Александра Осиповна покосилась удивлённо и разглядела в его тарелке две половинки яйца желтками наружу.

— Да, да, — сказала она, смеясь. — Вот и у меня в тарелке тоже глаза жёлтые. Даже неловко и есть...

— Как вам Калуга показалась? — спросил Николай Михайлович.

— Я мало видел пока, но виденное очень хорошо, даже и на удивление. Что-то в ней особенно милое есть, как бы женственное даже.

— Весьма рад!

— А как губернаторствуете в ней?

Николай Михайлович помолчал с серьёзным видом и вдруг расхохотался:

— Что это ты? — удивилась Александра Осиповна.

— Да рассказывали как-то о Петре Великом. Будто, когда встречал он князя-кесаря своего Ромодановского, Тайного, пыточного приказа начальника, то непременно спрашивал: каково кнутабойничаешь? А тот неизменно отвечал: помаленьку, Государь, помаленьку. Вот и я вам, Николай Васильевич, так же отвечу: помаленьку! Кстати, прямо за Окой, напротив дома губернаторского, и село, ему принадлежавшее, стоит. Ромоданово и называется. Вид оттуда на Калугу очень хорош, поезжайте посмотреть, рекомендую... Что ж, если Пётр Великий припомнится, то можно и Екатерину, тож Великую, вспомнить. Посетила она Калугу в 1775 году. И город ей понравился, и наряд калужских купчих, ей подаренный. А в следующем году указ Высочайший вышел об учреждении наместничества с центром в Калуге. А ещё в следующем двенадцати всего городам в России гербы были пожалованы, и Калуге в том числе. Всего же интересней, что только Калуга, единственная после Санкт-Петербурга, золотую корону в герб свой получила, представляете? Даже Москва златоглавая, первопрестольная чести такой не удостоилась.

— Да за что же, почему? — воскликнул Гоголь.

— Полагают некоторые историки, что Екатерина хотела создать в России примерный губернский город и Калугу для того выбрала. Хотела, да не смогла или не удосужилась просто. Но Калуга и без того очень неплоха, уж поверьте.

А ведь он молодец, удовлетворённо подумала Александра Осиповна про мужа. И пошутил, и серьёзное сказал кстати. Но всё равно в обращении с гостем что-то двусмысленное нет-нет, а и проглянет. С одной стороны Гоголь для него бедняк из рода захудалого, с кончика пера живущий, а с другой писатель знаменитый, самому Государю известный, который даже и подкармливает его время от времени, к дальнейшей работе тем поощряет.

— Николай Михайлович, я вот всё к супруге вашей с расспросами пристаю о жизни губернской: как, да что, да почему? Измучил её совершенно...

— Совсем нет! Мне и самой интересно во всём разбираться.

— Измучил, измучил, не отпирайтесь! Так вот, позвольте и вас немножко потерзать из авторского интереса корыстного.

— К вашим услугам, — добродушно улыбнулся Смирнов. — Терзайте!

— А вот скажите перво-наперво, что самое трудное в должности вашей?

Смирнов откинулся на спинку стула и молчал довольно долго.

— Грызня, — ответил он, наконец. — Грызня между чиновниками и тайная, и явная. Жалобы, доносы, клевета. Поедом друг друга едят и меня в том не обходят.

— Интересно очень, но нельзя ли поподробнее, поточнее?

— Ох, Николай Васильевич, дорогой, от подробностей уж увольте. Такая грязь, что за обедом и поминать неприлично.

— А что же делать с этим? С грызнёй, как вы славно выразились?

— Ревизор нужен время от времени! Только не такой, как у вас в пьесе, а настоящий, рука государева. Вот как Державин с ревизией в Калугу приезжал в восемьсот втором, кажется, году. Больше месяца пробыл, зато и навёл порядок. Из вашего брата, из поэтов-писателей, а куда как крутенец был!

— Рука государева, — проговорил Гоголь задумчиво. — Но ведь губернатор эта рука как раз и есть?

— У него руки часто связаны бывают доносами и клеветами, поэтому свежий человек нужен, со стороны. Да властью большой облечённый.

— Стало быть, грызня первая беда, а вторая? — спросил Гоголь.

— Первая для меня лично, а вообще-то первая иная, и все её знают прекрасно: казнокрадство и мздоимство.

— И что же делаете?

— Слежу по мере сил, чтобы в казну рук глубоко не запускали, вот и всё.

— А мздоимство?

— С ним что же поделаешь, откровенно говоря? Как уследишь за барашком в бумажке? Надзирателя разве к каждому чиновнику приставлять...

— Господа! — воскликнула Александра Осиповна и жалобно, и возмущенно. — Всё это важно, разумеется, но сил моих слушать больше нет!

— А только что говорили, что интересно вам, — сказал Гоголь.

— Интересно, когда о живых людях разговор, а не вообще о взятках и казнокрадстве. Это же совсем иное! Вот я вам о Державине-человеке расскажу лучше, недавно узнала. Из калужских преданий случай. Шёл он, прогуливаясь в одиночестве, по площади Торговой и до Воробьевского спуска дошёл. Я вам покажу, если поблизости будем, — обратилась она к Гоголю. — Крутой весьма спуск, и на нём дети по протёртой ледяной дорожке прямо на задах своих как раз и катались. Державин смотрел-смотрел, а потом подвернул под зад шубу медвежью, сел на лёд и вниз. Да так понравилось, что ещё и ещё проехался с хохотом. А ведь на седьмом десятке был! Вот вам и сенатор, и министр, который с самой Екатериной Великой дерзок бывал, мнение своё защищая.

Она ожидала смеха, но мужчины лишь улыбнулись: муж добродушно-одобрительно, а Гоголь довольно кисло.

— Забавная картина, разумеется, — сказал он. — Крупность натуры показывает и в себе уверенность. Да и как хорошо — годы и чины отбросить вдруг и в детство вернуться...

Уж ты бы не отбросил со своими пуговками золотыми и хохолком взбитым, подумала Александра Осиповна.

— Я бы так не смог, пожалуй, — продолжал Гоголь задумчиво. — Что ж, выходит, нет во мне ни крупности, ни уверенности, ни, главное, детскости. Да и была ли когда?

— Шутите, Николай Васильевич! — сказал Смирнов.

— А вот и нет, — проговорил Гоголь всё так же задумчиво и грустно. — Сказано же: будьте, как дети. Кто может, тот и блажен. — Он помолчал, нахмурившись, и, переломив что-то в себе, сказал с оживлением: — Очень Державина люблю. Какая мощь, искренность, миру открытость! Какой взгляд прямой и бесстрашный! Великий поэт!

— Но сколько же у него такого, что и читать нельзя, — сказала Александра Осиповна. — Вымученно, слеplено кое-как. Не веришь даже, что это “Бога” и “Водопада” автор.

— Художника надобно оценивать по высшим достижениям, — сказал Гоголь строго. — В нем ещё и долголетие творческое восхищает. “Жизнь Званская” какой жизни гимн, в старости написанный. За два дня до смерти одно из лучших стихотворений своих на аспидной доске мелом написал, часто его повторяю: “Река времён в своём стремленье уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается чрез звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрётся и общей не уйдёт судьбы”. Вот это точка в конце всей работы да на восьмом десятке лет!

— Стихи прекрасные, но ведь какие-то безбожные, — сказала Александра Осиповна. — Странно, что вы их любите и помните.

— Милая, ты, кажется, более католиком, чем сам папа, хочешь быть, — заметил Смирнов.

Она, редко с ним соглашавшаяся, кивнула.

— Да, да, пожалуй... Так скажи, чем же в Калуге ревизия державинская закончилась? И Николаю Васильевичу, я думаю, интересно узнать.

— Губернатора Лопухина от должности отстранили и отдали под суд по императорскому указу.

— А дальше? Чего ж ты замялся?

— Оправдал его суд.

— А сколько ж шёл?

— Шестнадцать лет.

Гоголь расхохотался так, что платок из кармана сюртука пришлось доставать и вытирать глаза.

— Именно так, не меньше... — бормотал он прерывисто. — Чтоб на остаток жизни хватило... И как же жил подеудный в эти годы?

— Обыкновенно. Жил, не тужил и Державина поносил на всех углах петербургских.

— Улита едет, когда-то будет, — сказал Гоголь, успокоившись и спрятав платок. — Но ведь и теперь не быстрее езживает?

— Ненамного, во всяком случае.

— Спасибо вам за Державина, помянули человека славного и поэта великого. Только ведь мне про живых, теперешних людей узнавать надо.

— В этом я слаб, поверьте! — Смирнов даже ладонь к груди убеждающе придал. — Вы уж супругу мою продолжайте мучить, она мастерица на этот счёт.

— Хорошо, ешьте меня, доедайте, — улыбнулась Александра Осиповна Гоголю. — Но не теперь. Теперь по парку погулять бы недурно противу жиру излишнего.

— Мне, к сожалению, в город по делам надо, — сказал Смирнов.

— Где уж тебе и отдохнуть в воскресенье, руке государевой, — усмехнулась Александра Осиповна. — Ну, а вы, Николай Васильевич? Вот и пре-

красно! Только чур, о чиновниках калужских и их женах не расспрашивать на прогулке, слишком погода для этого хороша.

* * *

Гоголь пошёл к себе во флигель “на минутку”, но не было его долго. Александра Осиповна погуляла по саду и в конце концов села на лавочку. Перед ней по огромному заливному лугу извивалась с прихотливой вольностью узенькая речка Яченка, и дальше зеленел до горизонта сосновый бор. Она перебирала в памяти всё, что собиралась рассказать Гоголю, и про Загородный Сад, и про летний дом, построенный для последнего крымского хана Шагин-Гирея, и про флигель, принадлежавший когда-то поэту Нелединскому-Мелецкому, и, главное, про бор, в котором Лжедмитрий II Петром Урусовым был убит. Она знала пристрастие Гоголя к истории России и хотела именно в эту сторону беседу с ним повернуть. Начать — главное, а потом он сам увлечётся, заговорят так, что заслушаешься. Удивительно историю видит и понимает: и философски крупно и, одновременно как-то, в деталях мелких, бытовых. Впрочем, что ж удивительного, художник истинный не только историю, но и всю жизнь должен именно так воспринимать...

Не в бору, в пойме Яченки Лжедмитрий был убит, вспомнила вдруг она и поморщилась. Какая разница! Да он её и не занимал очень-то, много их, Лжедмитриев этих, четверо, кажется, было, выскакивали, как чёртики, ниоткуда. А вот Марина Мнишек её интересовала. Отважная бабёнка, нечего сказать, авантюристка великая. И ведь поцарствовала на Московии с первым Лжедмитрием с год. Спаслась после его убийства да к следующему искателю пристала, вору Тушинскому, и приткнулась, второй приступ на царство затеяла. Смелости и сил душевных надобно тут куда как много. Когда же узнала, что и второго “мужа” прикончили, стрельцов калужских подняла, погром устроила в Ногайской и Берендейской слободе, огню и мечу их предала. Сама лично, полунагая, с факелом в руках стрельцов воодушевляла. Потом Калугу покинула и утешение себе скоро нашла в красавце Заруцком. Заруцкого вскоре на кол посадили, ребёнка её пятилетнего повесили, а сама она сгинула невесть куда. Какая судьба и страшная, и яркая! Недаром Пушкин в “Годунове” её показал если уж не с сочувствием, то с уважением к уму и отваге. А задевает она оттого, что судьбу её к своей примериваешь невольно. Всё кажется до сих пор, что могла бы иначе как-то прожить, поразмашистее, посвободнее, посвоевольней, всё чувствуется в душе сил нерастраченных горький, сухой осадок, остаток. Были силы, да поистлели, был огонь, да притушился почти... Ну, а если к себе давней, молодой судьбу Марины примерить? На троне посидеть царицей, хоть и липовой, потом с факелом бежать в ночи во главе стрельцов? И сгнуться, но в истории России остаться-таки чёрточкой малой? Нет и нет! Сил, может быть, и хватило б, но что силы без стремления страстного?.. А ещё судьбу если прикинуть Вареньки Нелидовой хотя бы, фаворитки Государя? Чтобы раскланивались перед ней низко, льстили б глаза, а в спину смотрели с ненавистью? Тоже нет! Хоть и не сладко с муженьком нелюбимым жить, а всё-таки сама себе хозяйка. Да и праздные это мысли, никчёмные. Судьбу Бог посылает и ей, стало быть, какая есть. Смиряться, терпи да пиши свои “Записки”.

Появился Гоголь с извиняющейся улыбкой.

— Что, или муза вас увлекла, меня, грешную, забыть заставила?

— Какая там муза! — махнул он рукой, усаживаясь рядом. — Просто взял перо на минутку, мысль мелькнувшую записать, а четверти часа как не бывало. Уж простите великодушно! С временем у меня отношения мудрёные — то как на волах тащится, то рысаком летит...

— Николай Васильевич, а вот скажите откровенно, хотели бы вы себе иную судьбу, чем та, что была и есть?

— Как хотеть того, чего быть не может?

— Ну, а все-таки, как в сказке?

— Я одного всегда хотел, Александра Осиповна, России как можно луч-

ше послужить, — сказал Гоголь со вздохом. — С юных лет и по сию пору так.

— Неужто это только?

— Да уж поверьте, с чего бы мне перед вами лукавить. Служу пером, только вот преуспел пока немного.

— Ну, почему же? По-моему, наоборот!

— Черного много вышло из-под пера, вредного. Исправлять надо.

— Неужели только служение цель одна? А слава хотя бы?

— Хотел, конечно. Вот именно со славою послужить. Только что она, когда узнаешь и разглядишь её ясно? Яркая заплатка на ветхом рубище певца. Пушкина формула, лучше не скажешь.

— Знаете, о чём я, вас ожидая, думала? О Марине Мнишек. Она ведь в Калуге жила довольно долго с Тушинским вором, как жена. Его и убили вот тут вот, в пойме Яченки.

— Об этой чертовке и думать-то грех, — сказал Гоголь. — Она и влюблена была в чертей, то в одного, то в другого.

— Постойте, постойте, это же у вас где-то есть... А-а, такое открытие ваш Поприщин из “Записок сумасшедшего” сделал: женщина любит чёрта. Но он ведь безумец был!

— Что ж, что безумец? Они-то и видят часто правду высшую.

— И вы, как Поприщин, считаете?

— Ох, Александра Осиповна, отпустите душу на покаяние, — жалобно сказал Гоголь. — Что я считаю по этому поводу, я и сам не знаю толком. Одно знаю — через женщину грех в мир пришел. Про яблоко вспомните.

— Уж это мне яблоко! Есть Адаму его не надо было.

Гоголь рассмеялся весело.

— Верно! Только вот слабы мужчины перед женщинами, тут вся беда.

— Потому вы нас и сторонитесь?

— Отчасти и потому. Но ведь не всех, дорогая Александра Осиповна, сами видите, не всех...

— Да уж вижу... Может, вниз спустимся, на Яченку посмотрим?

— Пожалуй. А скажите, как Калуга второго Лжедмитрия принимала?

— Хорошо в целом. Приветствовала, можно сказать, законного царя в нем видела.

— Да, легковерен народ и на обещания падок...

Гоголю вспомнились его многолетние занятия историей, адъюнкт-профессорство, которое доставили ему своими хлопотами Пушкин и Жуковский. Они же и на лекцию к нему однажды пришли, и он угостил их вполне поэтически, о восточном правителе Аль-Мамуне говорил, который вознамерился превратить государство политическое в государство муз. Вдохновенно говорил, слушателей увлёл, а поэты-гости благодарили его потом вполне искренне... Да, огромные были планы и главный из них — история Украины вся от начала до конца, томов на восемь-девять. Думалось, что работой историка он Отечеству большую принесёт пользу, чем сочинением повестей и комедий. Но не заладилось, не сыгралось всё это в конце концов, и он до сих пор твёрдо не знает, к худу или к добру? Вот если и второй том “Душ” напишется успешно, то можно будет решить — к добру...

Луг в пойме Яченки был так огромен, что казалось — море огромное, безбрежное лежит вокруг, гонит под ветром зелёные свои волны. Заросли цветущей белой кашки часто встречались среди зелени, и густой, медовый запах стоял над ними, словно невидимые облачка.

— Как в озеркоходишь, — обернулась Александра Осиповна к Гоголю. — А вместо воды мёд! А пчёл-то сколько, а шмелей!

— А бабочек, а стрекоз! — в тон ей отозвался Гоголь. — Радуются, Бога славят! Вот бы и нам тоже, да как? Любопытно, луг такой же пойменный, что и у Суходрева, в Заводах, но ведь и иной совсем.

— Надо же, заметили! Вы ведь природу размашисто пишете, большими мазками, вам не до тонкостей. А вот Тургенев Иван весьма в описаниях природы тонок и точен, не заметили?

— Очень, заметил! Прекрасный пейзажист, но главная его сила не в этом. У него живой русский мужик едва ли не впервые в литературе появился. После Пушкина, во всяком случае, но всё равно свой, особенный. Вы хорошо с ним знакомы?

— Не только с ним, но и Музой его, с Виардо. Вот уж Муза так Муза!

— Что ж, если она его на охотничьи рассказы вдохновляет, то очень хорошо. Её муж, кстати, книгу мою на французский перевёл, а Тургенев тому поспособствовал. Если увидите, то поклон от меня передайте и скажите, что я многого от него в литературе жду.

— Вам и лично пора знакомыми быть.

— Пора, да всё случая нет.

— Вот мы его вспоминаем, а он, может быть, именно сейчас рядом, в калужских лесах охотится. Любимые его места, кстати. У него здесь несколько деревень есть в Жиздринском уезде...

Ей представился Тургенев со всей своей крупностью телесной, с огромной, величавой посадкой головой и, в противоположность этому, с голосом тонким, с походкой нерешительной, проседающей как бы на каждом шаге. И в повадке его была странная смесь светскости учтивой с затаенной, изредка проступающей робостью. А вот Муза его, Полина, полной противоположностью ему была: горяча, подбориста, решительна. И лицо имела удивительное: неправильное почти до уродливости и притягательное неотразимо. Особенно глаза были хороши: огромные, чёрные и налитые до краев огненной какой-то, нездешней тоской. Говоря с ней или со стороны её наблюдая, Александра Осиповна чувствовала, что в чем-то важном, главном они страшно похожи, до изумления, до озноба. И душой, и телом. А если её судьбу к себе примерить, подумала она вдруг. Петь вот так же ангельски, восхищение всеобщее вызывая? Не только Европу искусством своим покорить, но и холодную, не очень-то склонную к восторгам Россию? Подумала, представила всё это и решила: пожалуй, да. Как не пожелать такого дара Божьего, радость людям приносящего... Ишь, разгулялась, матушка, мелькнуло у неё с невольным раздражением, всё лики чужие на себя натаскиваешь! То Марину, то Полину, то Вареньку Нелидову. А потому, видно, что жизнь своя собственная не мила, да только в другую не перепрыгнешь. В своей утешения и утоления ищи. Полина, которой позавидовала, попоет и навеки умолкнет, а слово, хорошо написанное, долго жить может. Вот за него ухватиться и попробуй...

Когда, возвращаясь, шли по саду, Александра Осиповна подвела Гоголя к маленькому, крытому соломой домику с огороженным двориком вокруг.

— Вот фермочка детская, козы тут у нас с козлятами живут. Детям забава, но и польза... надеюсь. Кормят, ухаживают, играют с ними.

Во дворике резвились трое маленьких белых козлят. Гоголь долго смотрел на них, и лицо у него было при этом зачарованно-простодушным и молодевшим.

— Ах, как милы! Чудо чудное!

— Да, хороши. Но вот эти, любимицы мои, и того лучше. — Она показала на носящихся над головой ласточек. — Свободны, главное, одни только крылья за спиной. Птицы небесные не жнут, не сеют, но Отец их кормит их...

— Нельзя всё буквально, понимать, даже если это из Писания, — сказал Гоголь. — Вот и ласточки ваши не просто так резвятся, а мошек для пропитания ловят.

— Ох, какой же вы бываете... — Она замялась.

— Занудливый? — подсказал Гоголь.

— Именно, вы уж не обижайтесь.

— Я и для себя бываю занудлив, да что делать, натура такова есть. Кстати, и ещё занудство вам грозит — кое-что из второго тома прочитать хочу.

— Николай Васильевич! — Она и руками всплеснула. — Это же событие великое!

— Заранее-то не радуйтесь, — сказал Гоголь сухо. — Думаете, событие, а окажется, глядишь, пустяк, да ещё и скучный.

Букет незабудок, которые любил Гоголь, Александра Осиповна нарвала сама и поместила на веранде в центр стола. Вспомнила, как он сказал когда-то, глядя на одинокий, зажатый в пальцах, цветок: “Вот вам и небо, вот и солнце посередине”. И ещё вспомнилось, как долго на клумбу с анютиными глазками смотрел и сказал наконец с удовлетворением, словно задачу некую решив, что глазки-то бедовые, гульливые. Она удивилась странности такого определения, присмотрелась повнимательнее и согласилась невольно: да, гульливые. Вот это наблюдательность, вот это тонкость! Она хотела было и анютины глазки поставить рядом с незабудками, но передумала. Чтение дело такое серьёзное, что не до глазок, да ещё сомнительных таких...

Приближался назначенный час, и она волновалась всё больше, будто не слушать, а сама читать была должна. И немудрено, событие-то и впрямь предстояло очень важное для неё, о нём уж и не говоря. В сорок первом году, весной, в Риме он второй том начал писать, восемь, стало быть, лет назад. А в сорок пятом, в Вене, во время болезни тяжёлой, умирать совсем уж собравшись, ту, первую редакцию перечитал да и сжёг. Болезненный, скорей всего, был порыв, о котором и пожалел, возможно. Жутко представить себе сожжение и сожаление последующее после всего пота и крови, над рукописью пролитыми! А каково было заново начинать и продолжать свой труд тяжкий и мучительный?! Сам признавался, что той лёгкости, стремительности, с которой писал когда-то, не осталось уже и в помине. Требовательность к себе иная, высшая, или сил убыль тому причиной, как знать?.. Да и огромность задачи, которую он во втором томе перед собой ставит, кажется неподъемной. Что же он свершить хочет, если всё, до того написанное, лишь как неумелый ученический набросок оценил однажды? Сказал, что второй том “Душ” по сравнению с первым должен быть словно дворец рядом с хижинкой. Послушаешь такое, и жутко делается, здоровье его душевное тревожить начинает. Ведь то, что им уже сделано, истинно велико, не её одной это мнение, но знатоков и ценителей самых авторитетных. Так в какую же ещё можно порываться высь? До высот разве уж библейских? Ей представилась вдруг с пугающей реальностью возможность не победы его творческой, а поражения. Он будет, читая, думать, что всё получилось так, как задумывалось, как мечталось, а всё будет плохо, плохо, плохо... Озноб прошел у неё по коже от одного представления об этом. Как тогда быть, что сказать? Льстиво врать из жалости? Заметит наверняка. А сказать правду, для него страшную — не повернётся язык. Уклониться от прямого суждения, продолжения попросить, возможности всю картину целиком увидеть?

Время приближалось к назначенному часу, и привычная мысль принарядиться и тем отметить торжественность события мелькнула у неё. Она усмехнулась и даже головой покачала на себя: старая ты полковая лошадь, готовая гарцевать на разбитых копытах при первом звуке трубы! Что отмечать и перед кем гарцевать? Перед аскетом, монашескую жизнь ведущим? Срам, матушка, просто срам! Но и проговорив в себе всё это, она чувствовала необходимость сделать что-то. А счастливый перстень с изумрудом надо надеть, Кисса. В самую чудесную пору их любви он был ей подарен, и она надевала его лишь изредка, когда удачу надо было привлечь-приманить. Так кому же удачу? И Гоголю, и ей, и литературе русской... Но текст-то, уже написанный, никак теперь не изменится, что ни делай, хоть икону Владимирской Божьей матери выноси! Пусть так, но все равно надеть перстень надо, чтобы читалось Гоголю посвободнее, выразительней, полегче...

Она вспомнила пушкинский перстень-талисман, тоже с изумрудом, да и стихотворение о нем заодно. Елизаветы Воронцовой был подарок. Сам-то он об этом ей не говаривал, разумеется, но слух такой до неё доходил. Удивительное дело! Он — мальчишка, шалопай ничтожный, в чине крошечном, она — гранд-дама, жена красавца, вельможи первостатейного, и такой вдруг горячий роман! Откуда, как, почему? Неужели в стихах причина? Разве что отчасти, чуть-чуть... Главное, огонь пушкинский любовный, обжигающий, перед ним она устоять и не смогла, сама загорелась... Рисковала многим,

а в конце концов всё ей же на пользу вышло. Долго помнить будут не как жену графа Воронцова, наместника Новороссии, а как возлюбленную Пушкина. Может, и тебя запомнят, как друга Гоголя, корреспондентку его многолетнюю? Письма — вот главная ценность, которая ей от Гоголя останется, подарок, дороже любого перстня... Странная, нехорошая есть уверенность, что долго ему не прожить, что-то в лице мелькает такое страшное, мертвенное. А о себе противоположное чудится — жизнь долгая до мучительности... Что ж, если переживёт его надолго, то будет и книги, и письма его перечитывать. Тут и утешение, тут и обещание. Жуковский, пушкинские бумаги разбиривший, удивительные нашёл стихи, надежду некую дающие. Так примерно: “Сбирайтесь порой читать мой свиток верный, а я, презрев могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь...” Каждый талант может для себя такое пожелать, намечтать, и Гоголь тоже. Но это только если для нового, а для прежнего — нет, не захочет, ни входить, ни слушать, слишком его ценит низко. Ох, милая, как-то ты нехорошо думаешь, словно речь о житейских визитах идёт. О житейском, кстати, самое время позаботиться, места для Гоголя и для неё с братцем, тоже на чтение приглашённым, определить. Так, Гоголя за стол, на стул со спинкой торжественно-высокой, а им с Лёвушкой в кресла плетёные. Да поставить их правильно, не слишком близко, но и не далеко. Взять ли пальцы, хотя бы лишь для вида обыденно-домашнего? Пожалуй. Это при нервности гоголевской успокаивать его будет, да и привычно, случалось такое уже...

Вошёл брат с беззаботно-весёлым видом, поздоровался, подмигнув Александре Осиповне, и уселся в кресло.

— Нет, — сказала она. — Вон в то персядь. Николаю Васильевичу, когда глаза от рукописи вдруг поднимет, меня приятнее лицезреть, чем тебя.

— Ты уверена?

— Совершенно, — ответила она сухо. — И вообще, разбитную свою манеру оставь, пожалуйста. Это тебе не в бричке с Гоголем ехать, это дело очень серьёзное.

— Хорошо, хорошо! — Он и ладони перед собой выставил. — Буду тихо, как мышка, сидеть.

— Это не обязательно. Будет смешно — смейся на здоровье. Но с замечаниями и суждениями не спеши.

— Господи, сколько инструкций! Знал бы, я б больным сказался...

— Лёвушка, — проговорила она увещевающе, — прошу, отнесись серьёзно. Это же не просто частное дело для времяпровождения приятного. Это для России значение имеет, понимаешь?!

— Понимаю, сестренка. — Он сделался вдруг озабоченным то ли в шутку, то ли всерьёз. — Понимаю, а всё одно не пойму. И читал я Гоголя много, и на театре его смотрел, и всё там и умно, и остроумно, и забавно, и смешно, и трогательно даже. Жизнь, одним словом. А ты тут на меня такого страху вдруг нагнала! Будто не второй том романа, а репликацию о сражении предстоящем, великом слушать придётся. Почему сие?

— Потому, что во втором томе Россия иная, чем в первом, быть должна. Россия великая, герои великие...

— Ох, тяжело всё про великое, — вздохнул брат.

— Тебе слушать кажется тяжело, а каково ему писать было?

Брат расхохотался, но тут же оборвал смех.

— Прости, Бога ради, Фонвизина вспомнил, из гимназии ещё...

— При чём тут Фонвизин?

— Да там, кажется, кто-то про расправу над дворовой девкой рассказывает, а ему говорят: перестань, слушать неприятно. А он: тебе неприятно слушать, а каково девке было терпеть?

Александра Осиповна рассмеялась и тут же увидела подходившего к веранде Гоголя.

— Всё, Лёвушка, всё! Серьёзными становимся и торжественными.

Гоголь поздоровался с суховатой сдержанностью. Одет он был парадно и держал в руке тёмно-малиновую папку.

— Вот сюда пожалуйста, к столу, Николай Васильевич! Удобно вам будет?

— Вполне.

— Ну, а мы в креслах, с вашего позволения...

— Сие не только позволительно, но и необходимо. На предмет дремоты при долгом чтении. Пушкин, помнится, в таких случаях об одном просил — не храпеть.

— Николай Васильевич! — воскликнул Арнольди возмущенно. — Слова единого не пропустим!

— Как знать, как знать... — пробормотал Гоголь, усаживаясь и открывая папку. — Начнем?

Он покосился на Арнольди, а потом Александре Осиповне глубоко заглянул в глаза. Ей было нелегко выдержать его взгляд, столько в нем всего было: и сосредоточенность, и тревога, и даже, в глубине самой, какая-то о чём-то просьба...

В первые минуты чтения лицо его было мрачно, голос глух и нетверд, Александра Осиповна чувствовала исходящее от него болезненное напряжение и ей чудилось мгновениями, что то ли она сама, то ли близкий, родной ей человек сдает трудный, важный публичный экзамен. Но вот вид Гоголя начал просветляться от фразы к фразе, голос становился всё увереннее и твёрже. Было видно, что собственный текст, когда-то давно написанный, бодрит, оживляет его сейчас.

“Без конца, без пределов открывались пространства, — читал он. — За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, в несколько зелёных поясов зеленели леса; за лесами, сквозь воздух, уже начинавший становиться мглистым, желтели пески — и вновь леса, уже синевшие, как море или туман, далеко разливавшийся; и вновь пески, ещё бледней, но всё желтевшие. На отдалённом небосклоне лежали гребнем меловые горы, блиставшие белизной даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. По ослепительной белизне их, у подошв, местами мелькали как бы дымившиеся туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни; но их не мог уже рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая при солнечном освещении искра золотой церковной маковки давала знать, что это было людное большое селение. Всё это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, пропадавшие в пространствах. Гость, стоявший на балконе, и после какого-нибудь двухчасового созерцания ничего другого не мог выговорить, как только: “Господи, как здесь просторно!”

Чтение продолжалось и продолжалось. Вот Тентетников возник и был подробно описан с детства до лет зрелых, а вот и старые знакомцы появились: Чичиков и Селиван с Петрушкой... Александра Осиповна слушала неотрывно, давно забыв про пальцы, и какая-то сила, влекущая и подъемная, захватывала её. То ли от текста она шла, то ли от голоса Гоголя, то ли от того и другого вместе. Никогда ещё она от чтения гоголевского ничего подобного не испытывала. Некая особенная открывалась перед ней ширь и даль. Но что-то чуть-чуть и смущало. Казалось, что и текст, и манера чтения как бы слегка на цыпочках держатся с усилием. Она вспомнила “Подъезжая под Ижоры...” Пушкина и свои слова о том, что стихи эти выступают как бы подбоченившись. А он в восторг полный пришел от такого замечания. Может, и Гоголю про “цыпочки” сказать? Нет, нельзя... Во-первых, потому, что нет у него пушкинской спокойной, уверенной широты взгляда, очень уж он самолюбив и обидчив. А во-вторых, есть в “цыпочках” этих и в самом деле что-то сомнительное, на искусственность намекающее...

Когда Гоголь умолк и откинулся на спинку стула, он выглядел человеком, вернувшимся откуда-то издалека и припоминавшим, кто такой он сам и кто это сидит сейчас перед ним.

— Великолепно! — поспешила сказать Александра Осиповна. — Какой размах удивительный, какая яркость и глубина! Спасибо, дорогой друг! Долгонько я ждала чего-то подобного и, наконец, дождалась! Тентетников какой получился... — она замялась, подыскивая слово, — какой объёмный! Так и

видишь этого байбака-лежебоку с образованием университетским. Коптитель неба, так, кажется? А потом и того лучше: уж если есть много на земле людей, коптящих небо, то почему бы и Тентетникову не коптить его... Чудесно! И Чичиков разворачивается как-то иначе, с глубиной новой... Очень похоже, что этот том лучшего первого будет, и намного!

Гоголь неотрывно и испытующе смотрел ей прямо в глаза, и вдруг измученное лицо его осветилось доверчивой, детской улыбкой.

— Что ж, рад, что скучать вас не заставил.

— Какая скука, Николай Васильевич! — воскликнул Арнольди. — Наслаждение одно!

— Если так уж хвалите, то вскоре и продолжим, — сказал Гоголь, закрывая папку. — Сами напросились, а потому извольте терпеть...

5

Сон, приснившийся Гоголю уже под утро, был тяжёлым, мучительно запутанным и страшным. Чувство вины и греха его томило, необходимость очиститься, оправдаться и невозможность сделать это. Он всё бежать хотел в спасительную какую-то, светлую сторону и не мог. Душа напрягалась в ужасе и надежде, а тело оставалось неподвижно-бессильным. Проснулся в холодном поту, с беззвучным на губах криком. Сердце стучало так, что к горлу уже подбиралось, словно стремясь из тела выскочить. Вот это, видно, и имеют в виду, когда говорят, что душа с телом расстается, подумал он, чуть придя в себя. И ещё подумал, что пора бы и притерпеться к подобным кошмарам, много лет они его мучают. Так даже бывало, что в постель лечь не мог решиться, просиживал в кресле ночь напролёт. А в Риме, когда Анненский под его диктовку первый том “Душ” переписывал и жил в соседней комнате, пробирался к нему порой осторожно, сидел на плетёном диванчике до рассвета и тихо уходил, и засыпал потом, утренним светом успокоенный. Так и не знает, замечал ли тот эти его ночные визиты...

Обычно он долго отходил от подобных снов, но теперь очухался, приободрился быстро. Потому, может, что Смуглянка его милая, заботливая, поблизости находилась. Это успокаивало да работа, которая, слава Богу, шла покамест недурно. Она его главная защита и опора. А чувство греховности и вины, такое нестерпимое в ночном кошмаре, оно ему и наяву, днем знакомо, только без этого ужаса безысходного. Днем кажется, что всё можно в конце концов разобрать-понять, отмолить, исправить...

Во флигеле он занимал три комнаты: большую приёмную, в “два света”, рабочий кабинет с окнами на сосновый бор и самую маленькую, спальню. Выйдя в халате в приёмную, увидел там мальчика-казачка, который приносил ему для умыванья кувшин со свежей водой и свежее полотенце.

— Ну-ка, скажи, почему твоя должность “казачок” называется? — спросил Гоголь.

— Знать не знаю, а так себе думаю, что бегаешь туда-сюда целый день, вот и выходишь казачок. Казаки, они на конях скачут, а я на ногах, стало быть.

— Молодец! — Гоголь оглядел казачка повнимательнее. — Хорошо объяснил. — И давно ты туда-сюда бегаешь?

— Второй год. А до того поварёнком ходил у Силы Андреича.

— Ходил... — хмыкнул Гоголь. — Ходить-то, небось, лучше, чем бегать?

— Знамо, лучше. При одной кухне был, одно знал...

— Постой, постой, да сколько ж тебе лет?

— Семнадцатый.

— Вот-те на! Тебя ж в казаки пора из казачков переводить, на коня сажать.

— По коням у нас другие есть, а мне бы обратно — назад к Силе Андреичу попасть.

— Попадешь! Да ты и в самые повара можешь попасть, подрасти да потолстеть только надо. Как зовут-то?

— Никанором. А барыня больше пёстрым или пёстреньким за конопухи...

— И совсем хорошо! — рассмеялся Гоголь. — Не забалуешься — быть тебе поваром!

Он вспомнил, что Смуглянку звали при дворе “черненькой”, и подумал, что она, сама, может, о том не догадываясь, на тот же манер казачка этого, густо конопатого, стала называть. Как же связано всё в этом мире: за один кончик чуть дёрнул, и отозвалось Бог знает где...

— Послушай, Никанор пёстренький, приноси-ка ты мне эти припасы с вечера. — Гоголь указал на кувшин с полотенцем. — Незачем тебе в такую рань сюда бежать.

— Никак нельзя, — ответил Никанор твердо. — Ежели барин вставши, при нем сразу человек быть должён.

— Ну, брат... — Гоголь даже головой покачал с удивлением. — Да ты не только что до повара, ты и до буфетчика можешь дойти годиков эдак через пятнадцать...

Маленькая перед работой прогулка стала здесь уже привычной. Свежесть девственная раннего утра очаровывала Гоголя более всего: свежо синело отдохнувшее за ночь небо, свежо сверкало и искрилось разбрызганное вокруг солнце, свежо чернели густые, длинные тени, свежо и ярко пестрели разноцветные, влажные от росы цветы на клумбах. Когда же он вышел к высокому берегу Яченки, увидел её извилистую, серебристую ленту, громадный сизовато-зеленый луг, могучий массив бора вдаль, у него даже в груди чуть заохлоло. Тем-то и хороша природа Божья, подумал, что никогда она не надоедает. До конца дней можно было бы здесь вот простоять и не соскучиться. Смотришь, смотришь — и всё одно перед тобой, и всё новое при каждом повороте головы и едва ли не при моргании каждом. Думал как-то, что нелегко душе человеческой вечность переносить, даже в раю. Вечность ведь не шутка! А теперь вдруг почудилось, что ничуть она и не тягостна, если красоту Божью созерцать будешь. Хоть тысячи лет, хоть миллионы, хоть всегда... Ну вот и созерцай, тут же мелькнуло, хотя бы остаток дней своих, небольшой наверняка. Можно ведь такое осуществить по-житейски, не здесь, так в другом месте, не хуже. Можно, да нельзя. Долг, суровый долг работать, творить этого не позволит. А перед кем долг? Перед людьми, перед Россией, а первой всего перед Богом. Дал он тебе дар, так во пользу его употреби, в созерцании, хоть и блаженном, но пустом, не дай пропасть втуне. Работником будь Божьим.

Он поспешно вернулся во флигель, выпил стакан молока, вошёл в кабинет и стал к конторке. Осторожно, словно боясь обжечься, потрогал кончиками пальцев стопку исписанной бумаги и стопку чистой. Взял перо и замер в задумчивости. Тяжеленько стало настраивать себя на рабочий лад, не говоря уже о вдохновении. И как же легко это было когда-то! “Вечера” по ночам писал, отбыв службу дневную, казённую. Перо бежало так стремительно, что потом сам слова некоторые разобрать не мог. А какое наитие, Божественное прямо-таки, испытал в канун 1834 года. Не только голова и душа, но и весь состав телесный огнём горел... Клятву дал тогда совершить великое и записал её... Твёрдо закончил, уверенно — совершу, совершу! Перед Богом поклялся, перед Россией, перед самим собой... Совершил ли? И да, и нет. Много совершено, а впереди лежит и того больше. Новую надо покорить высоту, такую, чтобы созданное не только восхитить читателей смогло, но и в жизнь вмешаться, к лучшему её переменить. Вот задача из великих великая, да по силам ли? Ежели Бог благословит, то и силы, глядишь, найдутся!

Чичиков, давняя его ноша... То противен, а то и забавен, мил даже. Сросся с ним за годы многие, почти частью себя самого сделал. Пришла пора менять его потихоньку, из жулика и пройдохи в честные работники превращать. Трудное дело, мудрёное дело! Жуликом-то он сам собой из-под пера выскакивал, а исправляется уж так натужно, что порою хоть брось.

А вот этого-то ты и не сделаешь, права не имеешь. Пиши, знай, углубляйся и верь, что сможет он в конце концов работником честным стать. Вот как мечтается ему сейчас, после беседы с Костанжогло: “Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведётся стройный порядок и бойким ходом двинется все пружины хозяйственной машины, деятельно толкая друг друга. Труд закипит...”

Прошло около трёх часов. Гоголь окончательно отложил перо и, по обыкновению, перечёл написанное. Всё было примерно так, как обдумывалось заранее. Это вызвало в нём и удовлетворение, и глухую, смутную тревогу. Что задумал, то и написал, о чём же тревожиться? А вот об этом самом. Лучшее из созданного прежде писалось, любой план нарушая, границы его переходя, разламывая. Вот тогда-то и чувствовал он, что не сам-один пишет, а через него что-то высшее, небесное идет на бумагу. И бывало оно частенько для него же самого удивительным, странным, нелепым даже — когда перечитывал внимательно, то видел с обжигающей радостью — живое всё! И уже само по себе, от него, своего творца оторвавшись, живёт! А вот со вторым томом “Душ” такое хоть и бывало, но редко, редко... Как в Калугу приехал, случилось однажды, пожалуй. И как же быть? А так же, как и всегда: живое оставлять, мёртвое выбрасывать. И сегодняшнее? Нет, есть там в середине живой кусочек, вот его надо попробовать расширить, раздуть, как уголёк среди золы. Завтра, с Божьей помощью...

Он представил себе всё написанное ко второму тому и ощутил новый прилив тревоги. Сколько там скрылось от глаза мёртвых, за душу не берущих, мест? А сколько ни есть, все твои. Выматривать их надо снова и снова, убирать безжалостно. Трудность главная в том, что грехи, слабости человеческие описываются живо и легко, а всё светло-доблестное, добродетельное даётся с мучительным усилием. В тебе самом, видно, и причина — слабостями и грехами, а не добродетелями душа полна... Давнее сомнение в правильности фамилий, найденных для героев второго тома, вдруг пришло к нему. Т е н т е т н и к о в — да, слышна тут лень, распушенность, безволие, но ведь и нескладно, выговаривается с трудом. А К о с т а н ж о г л о и того сомнительнее. Хотелось что-то твёрдое, упористое найти, вот именно что русской распушенности и лени противостоящее. Вот и нашёл, но до сих пор в точности находки не уверен. Чуждо звучит и на язык ложится с трудом. В первом-то томе все фамилии были не в бровь, а в глаз: Ноздрёв, Манилов, Плюшкин, Собакевич... Один Чичиков от той компании славной остался да Петрушка с Селифаном...

Из приёмной комнаты послышался лёгкий шум, и Гоголь заглянул туда. Служанка, принесшая ему завтрак, низко поклонилась. Была она кровь с молоком и глаза у неё были малоросские, как переспелые вишни. Гоголь, глядя на неё, вздохнул невольно. Плохо у него женщины получаются. А Улинька из второго тома, идеал его женский, куклу напоминает. Надо, надо в неё живой крови постараться влить, вот у этой молодки позаимствовать...

* * *

Александра Осиповна уже показывала ему центр Калуги — из экипажа, лишь изредка и ненадолго выходя из него. Говорила много и азартно, и было очевидно, что город ей мил. Гоголь же был просто очарован Калугой, и ему казалось, что лучшего губернского города он и не видывал: и по застройке прекрасной, стройной; и по близости к природе; и по видам на Оку, от которых захватывало дух. Однако захотелось вдруг одному всё это посмотреть, проверить впечатление, в прочности его убедиться. Да и архитектуру он любил так, что предпочитал наслаждаться ею в одиночестве, по-гурмански.

Он закончил утреннюю свою работу пораньше, пораньше позавтракал, и у него осталось до обеда как раз нужные три часа: меньше маловато, больше утомительно. И настроение было подходящим, бодрым на редкость.

Выйдя из ворот губернаторского загородного сада, Гоголь увидел стоявшего поблизости “ваньку”. Настолько он был вместе со своей лошаёнкой и

тележкой жалок и затрапезен, что Гоголь сомнение ощутил — не к лицу вроде бы тащиться ему в таком “экипаже” по городу. Но он тут же и устыдился своего сомнения: Христос не на лошади, на осле в Иерусалим въехал...

Извозчик оказался и староват, и рябоват, и тощеват, и в армячишке рваном, едва не сползающем с плеч.

— Здравствуй, хозяин! — сказал Гоголь, подойдя.

— Доброго здоровья! — поклонился извозчик, и маленькие глазки его блеснули смешливо. — Это чего же я хозяин, интересно знать?

— Экипажа своего.

— Экипаж, что и говорить, знатный...

— Самого-то как зовут?

— Зовут Петром, да кличут Ванькой. Кто, стало быть, не на рысаке, тот выходит и Ванька.

— Сколько ж ты, Петр, до Каменного мосту возьмешь?

— А двугривенный всего!

— Всего... — повторил насмешливо Гоголь. — Тут гривенника, и то много будет.

— Вот как покажется рысак, — извозчик указал на уходящую вдаль дорогу, — так за гривенник и повезу. А пока цену держать буду. Соскучишься да и согласишься.

— Послушай, Петр, тебе не на одре этом таскаться, тебе лавку иметь впору по твоим рассуждениям.

— Э-э, барин, была бы лавка, кабы не Клавка!

— Что-то я не понимаю...

— А чего тут понимать? Баба меня разорила, вот и весь сказ... Так ты что же, рысака ждать будешь?

— Поехали!

— Вот и ладно. На одре моем по колчам таким ещё и лучше. Спокойней, по крайности...

Долго по обе стороны ухабистой улицы тянулись деревянные домишки, все трехконные. Понятно, налог-то по длине фасада берут, вот народ и экономит. В глубину же двора хоть на пятьдесят аршин дом тяни, дело твоё. И ещё одну особенность таких домиков знал Гоголь — фамилии хозяев на табличках всё больше женские, а отчего, Бог весть. Подумать надо... Вот и двухэтажные дома начали попадаться, у всех почти низ каменный, верх деревянный. Видать, так подешевле, а может, и поуютнее. Наконец, впереди показался мост, а перед ним большой, чудной архитектуры дом, уже знакомый Гоголю. Надо было осмотреть его повнимательнее, и он остановил извозчика.

— Вот тебе с прибавочкой за старанье, — протянул он деньги.

— Какая прибавка, барин! — воскликнул извозчик, но деньги тут же взял. — Я ж и так тебя разорил, считай!

Они переглянулись, смеясь, и извозчик звучно щёлкнул вожжами.

А ведь как востёр, подумал Гоголь, глядя ему вслед. Весь в тряпье, а себя не роняет. Помнится, Пушкин где-то писал, что мужик наш не забит,мышлён, переимчив... Вот это-то и надо в нём высматривать, во второй том вставлять...

Он перешёл улицу и остановился напротив дома, чтобы рассмотреть его со стороны. Тот был очень хорош, один; сразу же в поле зрения устанавливался естественно, всё остальное исчезало. И глазам приятно было на него смотреть, не уставали они, не порывались соскользнуть в сторону. Главное же, душа успокаивалась в тихой, гармоничной какой-то радости, и казалось, что ничего больше теперь не надо, лишь смотреть, смотреть...

Он не только любил архитектуру, но и изучал её — и по книгам специальным, и в натуре. Большой запас впечатлений отложился в памяти, были тут и Петербург, и Москва, и Европа, Рим в особенности. Как он его Смуглянке в первое время их сближения показывал с наслаждением и странной гордостью, словно сам построил и то, и то, и это. И вот, пожалуйста, после подобного опыта огромного какой-то дом в какой-то Калуге зачаровывает его, почти как улица Росси в Петербурге! Странно, странно, подумал Гоголь,

к настроению, что ли, дом этот так уж пришелся... Он вновь перешел улицу, к узорным, чудного чугунного литья воротам подошел и заглянул во двор. Скромно-милое крылечко у входа в дом сразу бросилось в глаза и по обе его стороны такие фонари, что он заморгал изумленно. Не фонари, а кубки ажурные! Так это днём, а каковы они горящие, узор свой выявляющие вполне?! Двор был аккуратнейше выложен отборным камнем, в котором преобладали сиреневый и розовый цвета. Замыкала же двор крытая галерея с двойной колоннадой тосканского вроде бы ордера...

— Чего надобно, барин? — услышал он сбоку густой, приятно рокочущий, спокойный голос.

Это оказался здоровенный мужичина дворницкого, но и особенного вида: с ясным, открытым лицом, в одежде чистой и опрятной.

— А ничего не надобно, смотрю просто. Любуюсь, так можно сказать.

— Понятное дело, — кивнул дворник и приветливо, и важно. — Посмотреть есть на что.

— Чьи же хоромы такие?

— Золотаревых купцов, только они не часто здесь живут. Так, наездами.

— Почему?

— А у них и другие дома в городе есть, поменьше, в них обретаются. Первеющие у нас купцы.

— Так чего ж тут-то не жить?

— А этот дом, вишь ты, на случай государева приезда или кого из семейства евонного держат. Чтоб, значит, всегда готов был.

— Что ж, и бывали?

— Куда тебе! И сам Александр Благословенный останавливался, и другие-прочие царских кровей...

— Вот так-так... — пробормотал Гоголь. — Не зря, значит, я на домишко этот залюбовался.

— Домишко — раз увидишь, не забудешь, — сказал дворник самодовольно. — Тут и нынешний царь-государь Николай ночевывал, когда ещё наследником был.

— Ну, а ты тут что делаешь, если дом пустой стоит?

— За порядком приглядываю, — сказал дворник с важностью, — Тут, окромя меня, и сторожа ещё есть. Дом-то, хоть и без людей, а ценный. Царский дворец путевой, так говаривают. С ним разве что Билибин дом сравнить можно, тоже хорош. За мостом, как Присутствие пройдешь, так налево и увидишь. А старей всего Коробов дом вон там, недалече. Того за старину палатами величают.

— Молодец, много чего знаешь!

— Да я тут, по околотку, всё, считай, обозначить могу! — воодушевился дворник. — И про бывальщину давнюю знаю! Как агаряне нас воевали, как этот... Ахмет на Угре нашей постоял да и ушел. И про вора Тушинского и про Мнишку, бабу его...

— Грамотный, что ли?

— Этого нету. Так, сидельцы в лавках сказывали, да сам когда спросишь у подходящего человечка. Надо ж знать, в каком месте сидишь-живёшь.

Взойдя на мост и оглядевшись, Гоголь почувствовал себя словно в воздухе повисшим — такая была высота. Внизу, по дну оврага, бежал искристый на солнце ручей, вдали Ока широко и пятнисто блестела, потом зелёный её берег поднимался к жёлтой полосе хлебного поля. Уж как хорош был вид на Яченку и бор, а этот оказался едва ли не лучше! Более всего поражала резкая, без перехода, граница между городом, самым центром его, и прекрасной природой. Вот же, рукой подать, места Присутственные с людом чиновным, а вот, другой рукой достать можно, ручей чистейший, река, луг, поле хлебное...

Хотелось разглядеть сам мост — что это за гигант, так величаво вознесшийся? Гоголь миновал его и пошёл по липовой аллее, тянувшейся над крутым склоном оврага. Вот деревья раздвинулись, и мост выставился, как на ладони. Гоголю на миг почудилось, что он в Рим свой любимый мгновенно

перенесся — точной копией древних римских акведуков был мост, только по верху не труба водопровода тянулась, но люди шли и катили экипажи. А мощь какая — девять арок-пролетов головокругительной высоты!

За мостом были двух- и трехэтажные здания Присутственных мест, соединенные арками. Они выглядели так державно, что были бы и Москве и Петербургу впору. Гоголь шел неторопливо, на вывески, сменяющие друг друга, посматривая: Казённая палата, Гражданская, Уголовная, Совестьный суд... Хотя и “крапивное семя” чиновники, но и без них не обойтись. И хорошо, что в таких зданиях красивых, внушительных служат. Душу это хоть чуть, а настраивает на государственный лад. Глядь, лишний раз и вспомнят, что служат не только карману своему, но и Отечеству...

А вот и площадь, а за ней Гостиные ряды. Приветливы, милы, так в гости и заывают! Какая аркада по фасаду, человеку соразмерная, какие шпили над каждой аркой, какой главный вход торжественный! Ба, и книжная лавка имеется, надо войти.

Лавка была весьма неплоха, и книг для губернского города оказалось в ней немало. Гоголь и своих несколько томов нашёл, переплетенных местным, очевидно, переплетчиком в цвет мусака.

Приказчик в лавке вполне соответствовал своему месту службы: аккуратно одетый, с бледным, внимательно-умным лицом.

— Вот это покупают? — показал Гоголь свой томик.

— Весьма и весьма! — отозвался приказчик с готовностью. — Это же Гоголь, сочинитель известный. Его пьеса “Ревизор” и в театре у нас шла, и с губернаторшей нашей, Смирновой Александрой Осиповной, он, говорят, очень даже знаком.

— А тут у вас что же? — показал Гоголь на открытую дверь.

— Читальная комната. Газеты, журналы можно почитать. Даже и книги с полок, если кто интересуется.

— Прекрасно! — воскликнул Гоголь, заглянув в комнату. — Райское местечко просто-напросто!

— Хозяин единственно для просвещения граждан завёл, несмотря на убыток, — проговорил приказчик со сдержанным одобрением. — Антипин, старейший по этой части делец.

— А почему убыток?

— Потому что помещения тут дороги, а эта комната не торговая, только для пользы людей отдана.

— Что-то пусто в ней?

— А это так пришлось. То пусто в ней бывает, то густо. Иной раз столько понабьется, что и присесть негде. Да вы не желаете ли?

— Спасибо, жаль, времени теперь не имею. Очень рад был побывать.

Обходя кругом Гостиные ряды, Гоголь набрёл на “Билибин дом”, про который ему рассказал дворник. Да, дом был хорош, не уступал, пожалуй, и путевому царскому дворцу, а уж ротонда в углу его ограды оказалась совершенной жемчужиной. Долго простоял перед ней Гоголь, с головой погружаясь в гармонию её волшебную. Когда же очнулся и всего несколько шагов прошел, то и ещё одну обнаружил “жемчужину”: “Улица Облупская”, значилось на табличке. Он посмотрел вдоль улицы внимательно — людна на редкость и, похоже, питейными заведениями на редкость богата. “Облупская”, — проговорил он, как бы на вкус пробуя слово. Ох, как хорошо, как натурально! Надо будет во второй том взять обязательно! В городе Тыфуславле главная улица Облупская пусть будет, лучше и не придумаешь... И ведь городские начальники какие молодцы! Могли бы и переименовать для приличия, но не тронули. Уж что есть, то есть... Вспомнился закон аж Ивана Грозного, по которому на Руси всем, даже жёнам, далее полиции запрещалось насильственно уводить мужиков из казённых кабаков. Пусть пьют, пока есть на что, казну пополняют. Рассказывали как-то, что не отменен сей закон до сих пор...

Вернувшись на площадь перед Гостиными рядами, чтобы взять извозчика, Гоголь засмотрелся на величавый собор неподалёку. Он уже видел его из экипажа, когда со Смуглянкой мимо проезжали. Вспомнилось её объяснение:

Троицкий, кафедральный, купол по диаметру самый большой в России. Больше только у петербургского Исакия будет, когда тот достроится наконец, лет тридцать уж строят его, и завершения пока не видно. Гоголю, насколько можно было по незаконченному судить, был он не по вкусу: да, громаден, внушитель, но не мил. Угрюм, тяжел, неприветлив... А вот этот, калужский, зато как хорош, как душу при взгляде вверх приподнимает! Вот теперь именно, когда мимо купола и колокольни облака белые под ветром плывут, представляется он кораблём под парусами. Да и в каком-то смысле он корабль и есть, Ковчег Божий...

* * *

Рассказ Александры Осиповны о калужских святых, преподобном Тихоне и блаженном Лаврентии, растревожил Гоголю душу. Он даже жизни их представил — да явственно так, до подробностей мелких.

...Тихон преподобный, Чудова монастыря послушник. Суровый, изможденный постом и молитвой, со взором то смиренным, а то и пламенным от пламенной же веры. Больше всех из братии душу трудил ради Христа, и всё ему этого не хватало. Многопопечительство житейское, суетность повседневная, даже и в монастырской жизни неизбежные, томили его всё сильнее, от Бога, от связи с ним, от любви к нему отстраняли. Уже и монастырский быт, и уклад казались ему помехой в поиске веры совершенной. И всё чаще стал он подумывать, не уйти ли в скит, в затвор, да и ушёл наконец. Новая, совсем уже строгая, суровая жизнь с одной почти молитвою утолила душу, но опять лишь на время. Вышнего подвига начинала исподволь требовать душа, одиночества полного, аскезы предельной. Представлялся ему то Симеон Столпник, на столпе, чтоб поближе к Богу быть, много лет проживший, то отшельники древние, в египетской пустыне подвизавшиеся, питаюсь акридами и диким мёдом, и хотелось быть, как они. И ушёл он на юг, в леса дремучие, и много дней влачился то по чащобам чернолесным, то по краснорельсю светлому, пока на дуб огромный с дуплом, келейку крохотную напоминающим, не набрёл. И почувствовал, словно ему сверху сказали — Богом послан сей дуб и сие дупло, в нём живи! Поблизости и мочажинку нашёл, и колодец крохотный руками голыми вырыл. И стал жить лишь перед Богом, один на один, всё время, кроме сна короткого и поиска пропитания, на молитву употребляя. А пропитание было — что в лесу съедобного заметит и что руки сорвут. Так и жил, истончаясь плотью от поста великого, просветляясь душой от молитвы беспрестанной, истовой, горячей. И уже чудилось ему порой, что может вот-вот над землей приподняться и к небу взлететь. Пришёл час, душа и взлетела, а тело иссохшее, брэнное осталось в дупле истлевать...

И вторая жизнь-судьба блаженного Лаврентия явилась Гоголю с такой же яркостью. Того с юности самой посетили голоса да видения, свыше ему посланные. И оторвалось от него всё мирское, перестал он его понимать-чувствовать, и но й совсем жизнью ради юродивого. По голосам да по видениям приходившим всё делал, а остальное для него было как ненужный, непонятный сон. От отца с матерью ушёл куда глаза глядели, да и стал бродить по Руси, церковных папертей пуще всего придерживаясь. Бос был и почти гол круглый год, и даже пропитания не просил, ел, что люди добрые сами давали. То молчал месяцами, то говорил безудержно дни напролёт. Голоса, в голове звучащие, проговаривал вслух, со вскриками. И стали его слушать понемногу и привечать, в дома разные зазывать. Так и до княжеского подворья в Калуге добрался, сам князь Симеон его слушал, смыслы тайные в его речах и выкриках искал. А уж как с топориком, грудь обнажив, на агарян он выскочил с кликом воинственным, да дружину за собой победно повёл, то стал ему в княжеском дворе полный почёт, а по всей Калуге слава. А что умер вскоре, так это и хорошо. Бог к себе забрал, когда сделал он своё дело главное...

Всегда ты Богу больше всего послужить хотел, подумал вдруг о себе Гоголь, так вот и примерь эти две судьбы. Какая ближе? А никакая... Не по

чину честь. Это же не просто судьбы, это жития, подвиги великие духовные Христа ради. Куда уж такое ему, слабому да грешному!

* * *

В Лаврентьевский монастырь поехали к обедне. По пути Гоголь особенное внимание на церкви обращал, провожал глазами, красоту особенную в каждой ища. И как же их много было — и здесь, и там, и там! Они появлялись впереди одна за другой, вырастали неспешно, проходили стороной величаво и скрывались. словно столбы некие путевые, опорные, только путь не обыденно-дорожный был, а духовный. Иногда церкви стояли близко одна к другой до удивления: зачем? Затем, наверное, что каждый околоток городской с вою именно хотел иметь, в ней молиться, о ней заботиться. Гоголю вспомнилась дорога до Полтавы, до Васильевки родной, церкви в сёлах придорожных, на высоких местах всегда стоящие, когда от одной можно было нередко увидеть другую, соседнюю, и он подумал, что народ, того и не осознавая, может, именно этого и добивается, чтоб дорогу духовную не потерять, чтоб всегда от одного креста церковного и второй, следующий, был виден...

Александра Осиповна, сидящая рядом, была необычно тиха, грустна, и Гоголь подумал, что и ей перед поездкой в монастырь приходили мысли, похожие на его собственные. Не уйти ли в монахини, оставив сутолоку мирскую, пёстро-однообразную, пустую, до тоски надоевшую? Очень возможно при душе её, к высокому рвущейся. Не раз замечал, как истомлена, измучена она морочкой житейской, как терпит её из последних сил.

— Вот здесь, по преданию, Калуга и была когда-то, при зарождении самом. — Александра Осиповна показала на невысокий холм с намеком на ров вокруг. — Городище древнее.

— Немного следов осталось, — сказал Гоголь. — И не мудрено — корни наши земляные да деревянные исчезают быстро. Не то, что камни Европы.

— Есть и другое городище, огромное, высокое, — сказала она. — На речке Калужке, с другой совсем от города стороны. Можно посмотреть, коли пожелаете. Да и других мест интересных много. Городня, например, усадьба чудная, по проекту Воронихина знаменитого построенная. Когда-то владела ею Голицына, “усатая княгиня”, с которой Пушкин вроде бы старуху из “Пиковой дамы” писал. Полторацких имение недалеко с библиотекой, на всю Россию знаменитой. Полторацкий, кстати, близким знакомым Пушкина был...

— Везде поспевал Александр Сергеевич!

— Да, удивительно... А хотите, так и в Спасское съездим, где Великое Стояние на Угре было. На нем ведь иго татаро-монгольское закончилось.

— Я бы повсюду побывать рад, да будет ли время? Давайте пока Стояние Великое иметь в виду...

До начала службы оставалось добрых полчаса, и они походили неторопливо по монастырю. Он был невелик, обнесен каменной оградой с четырьмя башенками на углах и имел три храма: соборный в честь Рождества Христова, надвратный в честь Успенья Пресвятой Богородицы и домовый при архиерейских покоях в честь преподобного Сергия Радонежского. Постояли, молясь, у могилы блаженного Лаврентия, у иконы в его честь. Он был изображен во весь рост, босиком, в накидке овчинной. В одной руке держал у плеча маленький топорик на тонкой рукоятке, другую выставил ладонью вперед. Лицо у него было сурово-нахмуренным, но спокойным. Больше всего Гоголя тронули красные цветочки, прораставшие сквозь трещины в камнях у его босых ног...

Не только храм, но и всё остальное монастырское, на что бы ни попал взгляд Гоголя, было ему близко и мило. И аккуратно посыпанные песком дорожки, и густая, низенькая трава по их краям с синевшими в ней незабудками и вероникой, и приземистые, основательные хозяйственные постройки, и общежитие монашеское с частыми, узенькими окнами. Так и чудилась за каждым окном крохотная, чистенькая келья с топчаном, столиком,

полочкой из простой доски и книгами на ней. Милы были и встречавшиеся монахи, строгая чернота их одежды, походка сдержанно-быстрая, наклон головы смиренный.

Он вспомнил первое в жизни, такое давнее, посещение монастыря и своё совершенно определённое, ясное чувство — вот здесь бы и жить-быть! Оно удивило его тогда своей неожиданностью, а потом от знающих людей он услышал, что человек, к монашеству склонный, чувствует эту склонность в первое же с монастырём знакомство. Узнаёт как бы — это моё! И он узнал, и почувствовал, и чувство это потом лишь крепло раз от раза. Поразмышляя же, в душу свою заглянув поглубже, понял, что рождён он и писателем, и монахом одновременно. Как совместить такое? Монахом став, светские книги писать будет негоже. Тогда уж только духовные, наподобие “Размышлений о Божественной литургии”. А как же с писательской мирской работой быть? Может, она и исполнена уже вполне и за иную братья пора? Нет, “Мёртвые души”, поэму свою заветную, он обязан до конца довести. Потом лишь, дело это труднейшее совершив, можно будет вздохнуть облегчённо и сказать, как святой Симеон сказал когда-то: “Ныне отпускаеши”. И в монахи с лёгким сердцем уйти...

Служба была назначена в храме Рождества Христова, и перед её началом Гоголь с Александрой Осиповной стояли справа от амвона перед иконой Святой Троицы. Гоголь, глядя на неё, угадывал душой тот, полный неземной, божественной гармонии круг, который образовали собой ангелы, и невольно молитва Ефима Сирина начала звучать в нём: “Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дождьми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруюми, рабу твоему...” Кончив молитву, он вспомнил пушкинское её переложение в стихах, прочитал и его, строчка за строчкой и подумал вдруг, что переложение лучше. Мысль была нехороша, греховна, и он поспешно отогнал её. Настала пора помолиться от себя, своими словами, кровными, выстраданными: “Господи, дай благословение делу моему, которое для тебя первое всего делаю, помоги, Господи, работе моей, чтоб оказалась она и народу, и Отечеству в пользу. Осени, Господи, всемогущей дланью своей главу мою слабую, бедную, пошли ей силы на свершение благое, душеполезное. Отставь от меня гордыню мою, помыслы греховные, дела низменные. Ум просветли и отрезви, душу подними и вдохнови, тело укрепи для работы во славу Твою...”

Начавший службу священник понравился Гоголю с первого взгляда. Он был такой старенький, щупленький, что, казалось, с трудом удерживал на плечах своё торжественно-тяжкое облачение. Лицо имел простенькое, с густой сеткой мелких морщин. Что-то даже от Акакия Акакиевича почудилось Гоголю в священнике, и он подумал вдруг, что мог бы героя своего жить оставить и из департамента в церковь привести. Он поспешно прогнал эти мысли, как суетные, мирские, к месту святому не идущие, и сосредоточился на ходе службы. И потихоньку-полегоньку вошел в любимое своё состояние полёта духовного, ухода от земного к небесному. Все помогало этому — и взмахи паникадила с дымком приятно-синим, и запах ладана, и возгласы священника, такие трогательно слабенькие и особенно этим задевающие душу. Когда же вступал хор, то тихо и нежно, а то вдруг с силой влекущей, Гоголю казалось, что руки дружеские, ласковые невидимо тянутся к нему, обнимают и несут ввысь...

Как часто бывало, долгая служба показалась короткой, и когда закончилась, то он с сожалением и недоумением ощутил вдруг себя стоящим на уставших, ослабевших ногах, с поясницей ноющей, с сухостью горькой во рту. Ох, плоть немощная, подумал с невольным раздражением, никуда от неё не денешься, покуда в сем мире падшем живёшь. Он посмотрел на Александру Осиповну — да, и она выглядела утомленной, с бледностью, явственно проступавшей сквозь всегдашнюю смуглость лица, но что-то благостное, высокое продолжало всё-таки в нём светиться...

Когда же вышли из ворот монастыря и перекрестились на купола его и кресты, она вдруг сказала тихо:

— Вот ваше на земле место, Николай Васильевич, сюда вас Бог ведёт.
 — Разве я этого не знаю? — отозвался Гоголь так же тихо и грустно. — Только ещё не время, труд свой надо завершить.
 — А в монастыре нельзя?
 — Светскую книгу писать? Нет, я думаю.
 — Постриг ведь можно и не принимать, а просто жить при монастыре по уставу монастырскому.
 — Вы словно меня уговариваете, — усмехнулся Гоголь, — а я ведь и так живу почти что по-монашески, работаю да молюсь. Впрочем, всё это обдумать надо со тщанием. Вот в Оптину вашу съезжу, со старцами посоветуюсь...
 — Так поедemте!
 — Нет, нет, не теперь. Осенью, может быть.
 — А я побаиваюсь к старцам идти, — призналась она сокрушённо. — Кажется, что это, как Страшный суд, только маленький. Они ведь прозрачливцы, всё видят насквозь, не спрячешься...
 — А зачем? Уж если Бог всё видит, то пусть уж и старцы, — рассмеялся Гоголь. — Бога надо бояться, а больше никого.
 — Вот поди ж ты, боюсь... — Она помолчала и кивнула в сторону монастыря. — И сюда хочу, уж вам-то признаюсь. Но ведь и мне нельзя — дети малые, страсти неизжитые...
 — Вместе давайте и подождём, когда срок нам выйдет, — сказал Гоголь и грустно, и мечтательно.

* * *

Для пятого уже чтения Гоголь выбрал место, которое более всего ему самому нравилось во втором томе — про Петра Петровича Петуха. Он даже неловкость некоторую от этого испытывал — ну, что Петух? Хлебосольный обжора и больше ничего. Но ведь живым получился, чем и мил. А вот Костанжогло идеален вполне, одного только в нём не хватает — жизни живой. Значит, надо что-то менять, тени, пятнышки родимые на его образ ставить. Да и с Уленькой то же самое, и с Мурзаевым. Оживлять их надо, вот что! Глядишь, не так уж это и мудрено, и трудно окажется. Несколько ударов кисти точных — и оживут...

Он читал и чувствовал, как сочно, вкусно выговаривается им каждое из когда-то написанных слов, как во фразу хорошо оно ложится, занимая единственно нужное место. Поглядывая изредка на Александру и Арнольди, он видел, что они покорены чтением, как никогда раньше: то внимание глубокое было на их лицах, то улыбка, то неудержимый смех.

“Закуске последовал обед, — читал он. — Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал, у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: “Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете”. — У кого два, подваливал ему третий, приговаривая: “Что ж за число два? Бог любит троицу”. Съедал гость три, он ему: “Где ж бывает телега о трёх колёсах? Кто ж строит избу о трёх углах?”. На четыре у него тоже была поговорка, на пять—опять. Чичиков съел чуть не двенадцать ломтей и думал: “Ну, теперь ничего не приберёт больше хозяин”. Но не тут-то было: не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть телёнка, жаренного на вертеле, с почками, да и какого телёнка!

— Два года воспитывал на молоке, — сказал хозяин, — ухаживал, как за сыном!”

Александра Осиповна фыркнула, Арнольди расхохотался.

Гоголь испытал мягкий толчок удовлетворения и продолжал читать, чувствуя приближение нового, совсем иного по тону и смыслу, места. Голос его постепенно приобретал особенную торжественность и важность:

“Гребцы, хвативши разом в двадцать четыре весла, подымали вдруг все весла вверх, и катер сам собой, как лёгкая птица, стремился по неподвижной зеркальной поверхности. Парень-запевала, плечистый детина, третий от

руля, починал чистым, звонким голосом, выводя как бы из соловьиного горла начальные запевы песни, пятеро подхватывало, шестеро выносило... и разгуливалась она, беспредельная, как Русь..."

Закончив читать, Гоголь почувствовал приятную усталость, которая бывает лишь после хорошо сделанной работы. Да и по виду слушателей замечалось, что, да, работа была хороша.

— Вот уж и потешили, и утешили! — воскликнула Александра Осиповна. — Каков Петух! Просто видишь его! И даже ощупываешь как бы со всеми его жирами. А в других местах какая воля-вольная, истинно русская!

— Петухом своим вы меня прямо-таки до слёз от смеха довели, — сказал Арнольди. — И кажется почему-то, что он у вас из первого тома во второй невесть как залетел!

А ведь мальчишка-то прав, мелькнуло у Гоголя. Из той моей команды давней птица...

— Вопрос, может быть, несколько бестактный, но решусь-таки его задать, — проговорила Александра Осиповна осторожно и мягко. — Скажите, конец всей вещи, всей поэмы вашей вы сейчас себе представляете? Самый-самый конец? Помню, как же я концом "Онегина" разочарована была. Думала, ну нельзя же кончать ничем!

— Почему же ничем?

— Понимаю, понимаю, все понимаю теперь! — перебила она. — Но тогда-то молода была, глупа была!

— Конец, говорите... — Гоголь молчал долго. — Определённо не могу ответить, дело покажет. Одно знаю — последний звук, последняя нота высокой и чистой будет, к Богу полетит...

6

Визит, которым Александра Осиповна была обязана жене предводителя губернского дворянства, давно тяготел над ней, и она, наконец, решила его сделать. Мучительнее всего визиты эти давались, входившие в круг непрерывных обязанностей губернаторши. На следующий же по приезде в Калугу день вручили ей лист и послали их делать. Служба настоящая, за которую не худо бы давать губернаторшам хоть Станислава или какую-нибудь медаль с подписью библейскою. Трудно наносить визиты, а каково их принимать! Дамы губернские так стали её бомбардировать своими посещениями, что пришлось назначить вечер раз в неделю — танцевать и разговаривать. Это их пыл хоть немного поумерило...

Выйдя из дома, она неожиданно столкнулась с Гоголем.

— Николай Васильевич, что это вы в неурочный час прохлаждаетесь?

— Виноват! — развёл он руками. — Кусочек написал недурной, кажется, да и вышел. А вы куда?

— А у меня служба моя вечная, визиты! Что ж, довольны вы мной? — Она показала на простенькое, серенькое платье.

— То есть как?

— А так! Вы же меня в письмах учили одеваться просто, даже бедно и в одном и том же платье пять-шесть раз подряд на люди выходить. Вот я и наряжаюсь нищенкой, если так выразиться можно...

— Ещё как можно! Спасибо, что советы мои помните и исполняете.

— Вам спасибо, что даете. — Она помолчала. — Может, поедете со мной?

— Визиты делать?

— Испугались? Да визит-то всего один, я его сделаю быстренько, а вы тем временем прогуляетесь. Потом по городу покатаемся, в главный наш дом заглянем. Вы ведь его и не разглядели толком.

— Если так, то, пожалуй, и соблазнусь.

Коляска поколыхалась, поныряла на ухабах окраины и докатила, наконец, до центра. Напротив дома-красавца, стройного, с четверкой ослепительно-белых колонн по фасаду, Александра Осиповна приказала остановиться.

— Нет, нет, сидите, — придержала она шевельнувшегося Гоголя. — Вот на этот дом посмотрите просто. Тут съезды и балы Дворянского собрания бывали и бывают, тут Наташа Пушкина танцовывала, специально для того из Заводов приезжала, да ещё и брюхатая.

Гоголь покосился на неё удивленно.

— Слово не нравится? — рассмеялась она. — Пушкинское, кстати, он иначе и не говаривал.

— А вы тут бываете на балах?

— Разумеется. Я ж губернаторша, на своём посту быть должна. Изволь держаться по форме, изволь со всеми любезной быть. И ещё, по вашим же советам, и участливой, и простой, и внимательной, и доброй. Да лишней броши, лишнего перстня не надень, замарашкой прикидывайся. — Она рассмеялась. — Столько всего надо помнить и исполнять, что голова кругом идёт. Когда-то кружилась из-за дел амурных, а теперь из-за забот государственных.

— Александра Осиповна! — взмолился Гоголь. — Вы из меня какого-то мучителя делаете! А я не мучитель, а учитель, как вы не раз выразаться изволили. Терпите поучения, коли сами запросились.

— И терплю, и ценю... Что ж, приехали! Я зайду вот сюда ненадолго, а потом поедом дом наш смотреть...

Александра Осиповна гордилась своим домом и всегда с удовольствием его гостям показывала. Была в нём дворцовая прямо-таки стать — в залах просторных, в длинных анфиладах комнат, в узорчатом паркете пола, в изящной лепнине и росписях высоких потолков, в окнах огромных. И виды из окон были чудесны: широкая Ока и противоположный её берег с плотной древесной зеленью, с прогалами в хлебную желтизну полей. Гоголь ходил рядом с Александрой Осиповной, приборматывая: “Дворец, дворец!” Порой у какого-нибудь окна задерживался, приглашая её видом полюбоваться.

— Да видела я всё это, Николай Васильевич! — смеялась она. — Четыре года как-никак здесь живу.

— Приелось, понимаю, но вот поэтому и посмотрите со мной заодно, освежите взгляд. Гляньте-ка, барка плывет, да вторая, третья!

— Ока — самая наша большая дорога. Хлеб везут, дрова, иной всякий дряг хозяйственный, как вы выражаетесь.

К концу прогулки по дому Александре Осиповне стало вдруг грустно. Почудилось, что она не гостю дом показывает, а прощается с ним. Что ж, и такое придётся сделать, весь век в губернии не проживешь. Петербург нужен, Москва, Европа. Да и не губернаторствует никто подолгу, уж такая должность промежуточная. Пять лет — самый золотой срок. О многом здесь придётся пожалеть, но ведь это вообще в натуре человеческой — жалеть насиженное место. Узник, много лет в темнице проведенный, и то, выходя, хоть на миг её пожалеет...

— Дворец у вас если уж не царский, то княжеский вполне. А вы, стало быть, княжества Калужского княгиня, — сказал под конец осмотра Гоголь.

— Было такое княжество с князем Симеоном Гордым. Предполагают, что отравили его.

— По прозвищу и смерть.

— Это почему?

— Потому что гордецы не только Богу не угодны, но и людям тоже.

— Так за то их и травить?

— Я этого не сказал, не убий — первая заповедь. Я причину предположил просто-напросто. Да что это вы взволновались так? Вас-то за гордость не отравят, чай?

— Да уж, надеюсь...

Вышли в парк и постояли над Окой на краю обрыва.

— На этом месте крепость когда-то была, — сказала Александра Осиповна. — Тут и вышка сигнальная стояла, о приближении татар сигналила дымным костром. В летописях сказано, что за сутки всего Москва о набеге узнавала, от костра к костру весть шла. Когда, кстати, на Угру, на место Великого Стояния, отправиться прикажете?

— На днях и прикажу.

Напоследок она подвела Гоголя к громадному дубу, которому знатоки давали около пятисот лет. Гоголь долго осматривал его, то вплотную подходя, осторожно трогая ладонью необъятный ствол с корой словно бы каменной; то глядя со стороны на тёмную, непроглядную, полнеба заслоняющую крону. Она же смотрела попеременно то на Гоголя, то на дуб, и ей было грустно оттого, что их человеческая жизнь скоро пройдёт, а дуб останется стоять здесь совершенно таким же...

* * *

Ожидая поездки на Угру, Александра Осиповна заглянула-таки в соответствующий том Карамзина и неожиданно увлеклась, проведя за чтением часа три кряду. Потом отложила книгу и долго сидела в задумчивости. Прочитанное прямо-таки ошеломило её. Да, кончилось двухсотпятидесятилетнее монгольское иго в 1480 году Великим Стоянием на Угре, но потом-то что началось! Триста почти лет набегов татар-крымчаков на Русь и большинство их к Москве через калужскую землю! С кровью безмерной, с разорением страшным, с захватом пленных для продажи в рабство в количестве ужасающем. Один хан Мухаммед-Гирей сколько тысяч русских людей увёл в полон, отчасти продал, отчасти перебил... Вот жалуется она порой на калужскую скуку провинциальную, да и не она одна, а какая же цена за одно право вот так скучать спокойно народом когда-то была заплачена! Да что же это такое было? Война, что ли, трехсотлетняя, самая в истории всего человечества длительная? Пожалуй, и война в форме набегов, потому что не могли, наверное, кочевники и года без грабежей прожить, просто не умели...

Великое Стояние без большой битвы обошлось, повернул хан Ахмат своё войско обратно в степь, но как чудовищно иное, последующее было! Куликовская битва хотя бы за полтораста отсюда вёрст и за сто лет до Стояния Великого. Вот из летописи кусочек: “Погибло у нас дружины всей двести пятьдесят тысяч и три тысячи, а осталось у нас дружины пятьдесят тысяч”. Соотношение погибших и уцелевших в тысячах было страшно, но когда Александра Осиповна перевела его в единицы, ей стало ещё страшнее: в живых остался лишь каждый пятый. Так это при победе, а что бывало при поражениях?..

Ей показалось странным вдруг, стыдным даже, что она до сих пор на месте Великого Стояния так и не побывала ещё. Если бы не Гоголь, так и в голову бы, пожалуй, такое не пришло. Срам, просто срам! Пусть она по крови и не русская, но по душе-то вполне. Особенно здесь, в Калуге, русский дух явственно ощутила, вдохнула полной грудью. Да что она, если даже немка Екатерина Великая, в Неметчине своей выросшая, обрусела в России до мозга костей. Когда же Калугу посетила, то более всего платьем калужских купчих, ей подаренным, довольна была, даже портрет её в оном одеянии есть. А Жуковский с матерью, турчанкой пленной, а Даль, датчанин, кажется, по корням, словарь великорусского языка упорно собирающий, а Пушкин, “потомок негров безобразный”, как сам же о себе и сказал?.. Возьмешься перечислять, так и конца не будет. Всех принимала матушка Россия да на свой лад и обминала, и переделывала. И любили её люди с иной кровью часто так, как не всякому русскому любить удавалось. Господи, а Гоголь, малоросс, Хохлик её любезный! Вполне малоросскими были лишь первые повести его, а потом пошло совсем иное — Русь да Русь! Ей вспомнился “Тарас Бульба”, которого она прочитала с детским каким-то увлечением, восторгом, а порой и ужасом. Украина там, Сечь Запорожская, а всё равно Русь. Последняя страшная битва, в которой гибли один за другим самые лучшие, самые сильные казаки, пришла ей на память с явственностью видения. И ей вспомнилось, что предсмертные слова их были похожи, а по смыслу одинаковы совершенно: “Пусть же славится до конца века Русская земля!” Вдохновенное какое в повести место и какое ужасное! Мороз по коже при чтении пробирал...

Шли дни, а про поездку Гоголь всё не заговаривал. Александра Осиповна терялась в сомнениях: то ли запомнил, то ли от работы отвлекаться не

хотел, то ли передумал, не сочтя это важным. Самой же ей очень хотелось поехать и именно с ним, творцом “Тараса Бульбы”. Наконец, не выдержав, спросила за обедом:

— Так как же с поездкой на Угру быть, Николай Васильевич?

— Ах, да! — спохватился он. — Надо, надо на Великое Стояние поехать! — помолчал, улыбнулся и повторил: — На Великое Стояние поехать — странно звучит, не правда ли? И вообще, в этом что-то очень русское есть.

— В чём именно?

— В самом Стоянии, в том, что именно им иго закончилось. Перетерпели монголов, перестояли. Очень русская черта — терпение да стояние. Но и противоположное имеется вполне — взрыв, бой великий или, самое страшное, бунт.

— Об этом и Пушкин писал, помните? Не дай Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

— Мне-то по должности помнить полагается, а вот вы умница.

— Тут заслуги нет, память просто такая, обременительная порой.

— Память — оборотная сторона любви. Хорошо как, а вот кто сказал, и не припомню, — усмехнулся Гоголь.

— Может, вы и сказали прямо сейчас?

— Нет, я чужого себе не присваиваю... — Он помолчал, задумавшись. — Так завтра на Угру и поехать бы можно, если не возражаете? Вам-то не в тягость будет?

— Я очень хочу! Даже упрекала себя, что до сих пор не сподобилась.

— Хороший упрек, — кивнул Гоголь. — Священные места посещать надобно. К тому же, надеюсь, что это полезный толчок и душе, и работе даст. Нельзя знать, где найдешь, где потеряешь... Вот поехал я о прошлом году в Иерусалим и такие надежды на поездку возлагал! На душеполезность, на укрепление веры. И ничто не оправдалось, никогда ещё так ощутительна не была мне моя бесчувственность, чёрствость и деревянность. И где, на Святой земле! А на обратном пути, в Стамбуле магометанском, так вдруг помолится горячо! Так ясно себе представил, что из этого града, из Константинополя, мы самое главное сокровище своё получили — веру православную! Как факел к себе перенесли и вовремя. Рухнула неожиданно Византия, империя величайшая...

— Почему, как вы думаете?

— Причин множество, но главная, как всегда, ослабление веры. На ней, как на фундаменте, в земле скрытом, и царства, и народы стоят. И судьба России от неё же зависит. Ослабнет фундамент, так всё здание разваливаться начнет.

— Если Русь иго сбросить смогла, значит, вера к той поре крепкой оказалась?

— Истинно так! Только сначала сбережь её надо было по монастырям, по скитам, как огонек между ладонями, а потом и в костёр разжечь. За что может народ на подвиг борьбы великой подняться? Только за веру и Отечество!

— И за царя, — добавила Александра Осиповна тихо.

— Что ж, и за царя, — подтвердил Гоголь. — Только ведь и царь от веры, поелику помазанник Божий есть. Пётр Великий, кстати, и это в решительную минуту отодвинул. Сказал войску перед Полтавской битвой, что не за Петра сражаться идёте, а за Отечество, ему врученное.

* * *

На высоком над Угрой месте остановились и вышли из коляски. Вид был так величественно хорош, что заставил их молчать довольно долго. Угра изгибалась плавно лентой то синей, то сизой, то серебристо-слепящей; пойменный луг зеленел, и желтел, и розовел громадными, размытыми, друг в друга переходящими пятнами; кусты ивняка курчавились у самой воды; перед

песчаным обрывом дальнего берега едва заметно мельтешили ласточки-береговушки...

— Здесь? — спросил, наконец, Гоголь.

— И здесь тоже. Войска наши на 60 вёрст по берегу стояли. А сражение главное было вон в той стороне, там примерно, где Угра в Оку впадает. Ордынцы переправиться хотели, да наши отбили их. Впервые, кстати, огнестрельное оружие, пищали, применив.

— Так, так, а что же дальше было?

— А дальше так и стояли друг против друга два, что ли, месяца. Ордынцы вновь и вновь переправиться пытались и бывали отбиты. А потом Угра замерзла, и лёд вот-вот всадников ордынских смог бы выдерживать. Тут-то Иван III и приказал войскам отходить на уже подготовленные оборонительные позиции к Боровску и Кременцу. Ордынцы же, увидев такое, спешно ушли назад, в степь.

— Почему?

— Тут разные мнения. Одни считают, что Ахмат хитрость какую-то особенную с нашей стороны заподозрил и испугался; другие, что весть, для себя опасную, из своих улусов получил, и вынужден был срочно туда вернуться. Есть и третье мнение, и его-то я и придерживаюсь. Богородица, покровительница наша небесная, Русь спасла, покров свой над ней простёрла. Напугала нехристей, они и бежали. Вот с той поры Угра поясом Пресвятой Богородицы и именуется.

— Что ж, и я к этому мнению присоединюсь, пожалуй, — сказал Гоголь задумчиво, — хотя другие причины весомы вполне. Литовцев, союзников своих, Ахмат ждал и не дождался, потому что Менгли-Гирей крымский на Литву как раз напал. И по улусам Ахмата те же крымчаки ударили...

— Николай Васильевич, вы ведь лучше меня всё знаете, а вынудили, как школьницу, самое-самое простое объяснять!

— Я и должен знать, как-никак, адъюнкт-профессором истории был, — усмехнулся Гоголь. — А самого простого как раз и не знал — и про лёд, и про оружие огнестрельное. Главное же, вот этого всего не видел! — И он широко повёл перед собой рукою. — Чудо, а не река, истинно Богородицы пояс...

— Богородица не только для всей Руси, но и, особо, для земли Калужской покровительница. Первая наша святыня — икона Калужской Божией Матери. Единственная, где она со Священным Писанием в руках изображена. И празднование этой иконы у нас аж четырежды в году...

— Значит, так считать и будем — от ига Русь с помощью Пресвятой Богородицы освобождена была, — сказал Гоголь. — А иные причины, что ж, и они ей подвластны, она и через них действовать могла... Да какая же голубая Угра вон там, посмотрите! В точности Богородичный цвет!

Медленно пошли вниз к реке самой. Гоголь изредка наклонялся, срывал цветок, показывал, предлагая угадать. И она угадывала, ошибившись лишь однажды: веронику с незабудкой спутала.

— Похожи, да, но ведь и разница очевидна, — наставительно сказал Гоголь. — Вероника синяя, а незабудка голубая, у вероники сердечко беленькое, а у незабудки золотое, как солнышко. Очень их люблю и цвет, кстати, у обоих тоже Богородичный...

Они подошли к речному обрыву и замерли на краю. Вода внизу была тиха, чиста, гладка зеркально, и облака отражались в ней с поразительной чёткостью. Засмотревшись на них, Александра Осиповна почувствовала, как земля качнулась у неё под ногами.

— Что с вами? — Гоголь взял её за локоть.

— Так, пустяки... — Она улыбнулась смущенно. — Почудилось, что земля с небом слилась и пошла куда-то.

— Да, да, земля с небом, — кивнул он. — Это я понимаю! Земля небесной ощущается вдруг. Бывало не раз и лишь в России...

Погуляли над обрывом, а потом Гоголь предложил найти удобное место и спуститься к самой-самой воде. Она почувствовала, что ему хочется побыть одному, и отказалась, сославшись на усталость.

— Уж вы один как-нибудь, — сказала. — Да не упадите, не дай Бог. Знаю я вашу ловкость!

Спускался он так, что глаза хотелось отвести, но она все-таки смотрела озабоченно. Господи, как нескладен, как слаб! Да и смешон к тому же! Вот добрался-таки до песочка, у кромки воды стоит, как бы и в неё не залез ненароком, ног не промочил. И ведь такой рохля, такой нескладёха “Тараса Бульбу” написал! Какая там мощь духоподъемная, какая яркость слепящая, какая правда обжигающая! Да и жестокость какая порой! Как только тело его хилое такой огонь, такой пожар вдохновения выдержать смогло, не сгорело, не разрушилось?! Тайна гения, который всё может, а как, не знает и сам... Теперь вот стоит, голову на тонкой шее к плечу склонив, а видит, может быть, очами духовными то самое сражение с ордынцами, которое было здесь четыреста почти лет назад. Видит да когда-нибудь вдруг о том и напишет?..

А Гоголь и впрямь Великое Стояние, здесь вот именно бывшее, пытался вообразить, но получилось это так бледно, слабо, натужно. Та самая река с теми самыми берегами как раз и мешала своей реальностью плотной. То ли было дело, когда “Тараса Бульбу” создавал! Воображение без помех, в свободе полной лепило горячо и людей, и природу, и пиры, и битвы... Девять лет на “Тараса” ушло, но ведь и вещь небывалая получилась. Белинский писал, что, если возможен в настоящее время эпос, то вот он в прекрасном художественном воплощении. Не что-нибудь, эпос! Вышнее, что может слово человеческое выразить! И ведь вторую, окончательную редакцию “Тараса” одновременно с первым томом “Душ” писал, вот что самого теперь поражает. Кажется, ничто друг от друга дальше стоять не может, чем “Тарас” и “Души”, а ведь мог как-то их совмещать в себе. Как? Нет ответа, кроме одного — Бог послал...

Неподалеку сильно ударила рыба, волнишка ласково коснулась носков сапог. Гоголь отступил на шаг и осмотрелся напоследок. Красавица река, красавица земля! А то, что происходило здесь когда-то, на том же самом было замешено, что и его “Тарас”, хоть места событий тысячами вёрст разделены и сотнями лет. Вера и Русь, Русь и вера, это людьми русскими двигало, за это они боролись. А можно и то, и другое в одно-единое слить — за Святую Русь!..

Чудно хорош был день, прекрасна лежащая, текущая перед ней Угра, мил стоящий неподалеку Гоголь, но Александре Осиповне было грустно. Он ещё не поминал про отъезд, но она чувствовала, что вот-вот скажет — завтра! А как долго она ждала его, и как быстро промелькнул совместно проведенный месяц! Уедет, и давно уже привычное душевное одиночество станет гораздо темней и тяжелей. Она смотрела окрест, часто задерживаясь взглядом на Гоголе, как бы заранее уже прощаясь с ним. Так что же она всё-таки потеряет при разлуке? Учителя? Да, но ведь он и в письмах эту роль прекрасно выполняет. Писателя великого, радость и гордость от общения с ним? Разумеется, только самая-то суть его писательская в книгах заключена, их и читать надо. Душу родственную, родную, которую, когда он рядом, она чувствует всей своей душой, радуясь тому, что ей не так, как обычно, тоскливо и одиноко? Да, вот оно, самое для неё главное...

Заглядевшись на мелькающих над водой ласточек, Александра Осиповна не заметила, как Гоголь вернулся я ней.

— Уже выбрались?

— А вы полагали, что там, внизу, и останусь?

— Я полагала, что руку вам надо подать. Тут, на самом верху, место самое трудное.

— Спасибо, справился сам, — сказал Гоголь сухо.

— Уже обиделись! Простите, если самолюбие ваше мужское задела.

— Нечего прощать, желание помочь всегда и во всем похвально.

— Вот и хорошо. А я стояла тут и вашего “Тараса Бульбу” вспоминала. Какая там жизнь и разгульная, и жестокая, и, главное, какие битвы! Как вы могли все это написать?! Вы, такой мирный, такой... — Она запнулась, ища подходящее слово. — Такой штатский.

— Штафирка, — усмехнулся Гоголь, помолчал и заговорил вполне серьёзно, строго даже. — Во-первых, как и во всем остальном, Бог помог. А может быть, Пресвятая Богородица, как вот здесь она всей Руси помогла когда-то. Повесть-то моя для укрепления веры православной была написана, потому я, грешный, и на помощь такую надеяться мог, да и надеялся. А, вторых, вы поверхностно меня, боюсь, понимаете. Я не штафирка, я воин, только особенный. Как священник прикрепляет к бедру своему четырехугольный набедренный меч духовный, так и я перо, меч свой, в руки беру. Во всяком случае, стараюсь всемерно, чтобы было именно так. — Голос Гоголя был негромок, но полон такой твёрдости и силы, что Александра Осиповна потупилась с неожиданным для неё самой смущением. Гоголь же, словно заметив это, закончил мягко, бережно почти: — А в-третьих, дорогая моя Александра Осиповна, когда вы, стоя здесь, “Тараса Бульбу” вспоминали, я тоже там, у воды, про него думал. Чудное совпадение, не правда ли?

— Удивительное, — проговорила она тихо. — А то, что вы сказали сейчас про меч духовный, я очень понимаю, уж поверьте...

7

Гоголь долго смотрел на толстую стопу бумаги, лежавшую перед ним на столе. Вот тут всё, для второго тома, покамест сделанное и начисто в который уже раз переписанное. Вообще-то полагал, что до восьми раз надо вещь улучшать-переписывать, чтобы совершенства добиться. Да получалось ли так когда-нибудь? Трудно ответить, надо это вот до совершенства довести!

Он положил руку на рукопись, и ему померещилось на миг, что все усилия, все муки, вся борьба с самим собой многолетняя сохранилась каким-то чудом в груди исписанной бумаги и ощущается кожей руки, живёт, трепещет. А рука выглядела такой вялой, мертвенно-бездеятельной... Нет! Это не бездельника, это работника великого рука! Вот и мозоль, кстати, на среднем пальце, большая, твердая, тепер уж вечная. Натёр, тысячи тысяч слов написал... А если б и душу, работой изнуренную, увидеть можно было, что бы разглядел? Что-нибудь мучительно перекрученное, запутанное, чёрно-белое. Какая схватка страшная всю жизнь в душе между светом и тьмой идёт, порой кажется, что состав телесный её не выдержит. Надеяться надо, что свет победит в конце концов, но это лишь на Страшном суде вполне ясно будет...

Он осторожно выделил из рукописи тоненькую пачку листов и перебрал их медленно. Вот его калужского сидения результат... Может, тоже великого, хмыкнул он, вспомнив поездку на Угру. Великого не великого, а и не пустого. Плодотворного даже вполне. Так что спасибо и Калуге милой, и, главное, Смуглянке бесценной...

Он прочитал одну фразу, другую и невольно увлёкся собственным текстом. Особенно речь Костанжогло перед Чичиковым раззадорила его: “Надобно полюбить хозяйство, да! И, поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что в деревне тоска, — да я бы умер, повесился от тоски, если бы хотя один день провёл в городе так, как проводят они в этих глупых своих клубах, трактирах да театрах. Дураки, дурачье, ослиное поколение! Хозяину нельзя, нет времени скучать. В его жизни и на полвершка нет пустоты — всё полнота. Одно это разнообразие занятий, и при том каких занятий! — занятий, истинно возвышающих дух...”

Недурно, подумал он с удовлетворением, прочитав всё, в Калуге написанное. Недурно, но надо ещё и ещё поправлять и улучшать. Главное тут есть — сила приподнимающая. В ней вся задача второго тома — приподнять героев, приподнять Русь, к свету Божьему поближе вынести... Удивительно с концом первого тома получилось, с Русью-тройкой, вперёд летящей. Ведь, кажется, не связан он, полёт этот, с остальным в книге никак. Откуда мощь и замашка такая, откуда полёт, если все герои мелкота, у самой земли подвизающаяся? А в душе его собственной это было, оттуда на бумагу и вылилось. Но ведь приняли же все почти этот конец с восторгом, поверили в Русь-тройку летящую! А раз так, то и в книге, в героях её что-то подобное было, только не явное, а тайное, в конце самом приоткрытое! Во втором же

томе люди крупные, люди добрые, люди трудовые есть, и Русь-тройку с ними разогнать-поднять можно ещё сильнее, ещё выше!

Он почувствовал волнение от этих мыслей, от возможностей, впереди лежащих, но одновременно неловкость некую уловил в самой глубине души. Одна и та же она была, напоминала о себе раз за разом все годы работы над вторым томом: всем хороши новые герои, да выдумкой головной, сухой отдают и им самим не любимы, вот беда. А в первом какие уроды ничтожные, а живым-живые и любимые, что скрывать... Так что же выходит, не способен он создавать героев положительных и одновременно живых? Не может, стало быть, справиться с задачей своей великой, с миссией, Богом на него возложенной? Нет и нет! Нужно найти в себе силу животворящую да в новых героев её и вдохнуть! Дело, может, и за малым совсем, глядь, и проступит внезапно на их лицах краска жизни живая! Работать, не отчаиваться, не унывать — вот главное! Бог труды любит, труждающимся и обремененным помогает, а уныние смертный грех. Ищите и обрящете, стучите и откроют вам — так заповедано!

* * *

Погода была из самых Гоголем любимых — солнце, зной и сильный, размашистый ветер. Он с детства, с Васильевки своей степной такую любил — вечно зябнущее тело нежилось в жаре, но не томилось, охлаждаемое одновременно ветром. Такое было чувство, что некий покров чудесный, состоящий из смеси тепла и прохлады, плотно облекает его, и бодрость удивительную даёт, понуждая двигаться и смотреть вокруг с особенной пристальностью и интересом. Хорошо бы, подумал он, из всей своей жизни состав подобный, противоречивый, но и гармонический, создать, составить, чтобы не мучиться то в восторге, остром до боли и всегда коротком, то в грусти и тоске, всегда долгой...

Когда он вышел из-под арки Присутственных мест на площадь перед Гостинными рядами, порыв ветра сорвал с него летнюю светлую шляпу и нёс, катил, кувыркая её до тех пор, пока не уложил в единственную в центре площади лужу. Наблюдавший за этим Гоголь улыбнулся, почувствовав на миг, что ветер был живым, сознательным существом, которое проделало над ним немудрёную свою шутку. Он неторопливо зашагал к луже и уже подходил к ней вплотную, когда новый порыв ветра приподнял шляпу и понёс дальше. Гоголь остановился, смеясь. Ему нередко приходилось чувствовать природу, как нечто одушевлённое, то нежное, то грустное, то грозное, а вот шутливости в ней как-то и не замечал, разве вот теперь. Шляпа докатилась до чугунного фонарного столба и легла перед ним, как и следует, тульей вверх. Он не удержался от ещё одной улыбки, подошёл к шляпе, постоял, разглядывая. К деньгам у него не было жадности, а вот вещи он жалел и с трудом заставлял себя выбрасывать пришедшие в негодность. Привычка бедняка, вечно нуждающегося! Наконец, поднял шляпу и убедился, что испорчена она непоправимо. Для него, во всяком случае, а кто-нибудь мог бы ещё, почистив, и поносить: мастеровой, кучер, половой трактирный...

Держа шляпу чуть на отлёте, чтобы не запачкаться, он дошёл вдоль Гостинных рядов, надеясь набрести на шляпно-шапочную лавку и живо чувствуя, какой ералаш поднял ветер в его длинных волосах. Лавки всё не попадалось, и надо было спрашивать. Он выбрал из встречных приказчицкого вида молодца и остановил его, заранее догадываясь, как и что тот будет говорить.

— А очень просто-с! — с готовностью ответил ему молодец и даже подтянулся почти по-солдатски. — Как до угла изволите дойти, так и направо. Тут вам и будет лавка-с, “Шляпы и шапки” называется. Вывеска довольно даже огромная, брусничного цвету, в глаза бьёт-с... — Ветер с такой силой вырвался вдруг из подворотни, что молодец схватился за картуз и улыбнулся добродушно, по-свойски. — А вы, вижу, свою упустили? Да замарало её как...

Войдя в лавку, Гоголь увидел игроков в шашки, стоявших перед шашечной доской по обе стороны прилавка. По одежде, возрасту и солидному вы-

ражению лиц они выглядели купцами — один грузный, жуковато-чёрный, с бородой во всю грудь; второй тощий, рыжий, с бородкой клинышком. Гоголь хотел уже обратиться к ним, но подскочил молоденький приказчик.

— Чего желаете?

— Да вот... — показал Гоголь шляпу.

— А-а, — протянул приказчик так, словно узнал что-то очень приятное. — Понимаю-с, оплошка вышла. Бывает-с, не вы первый, не вы последний... Новую желаете?

— Разумеется. Такую же примерно, если есть.

— Как не быть! А позвольте-ка на эту взглянуть, размерчик прикинуть.

Он осторожно, двумя пальцами, взял шляпу и покрутил её перед собой.

— Понятно-с! Да она и ничего еще, ежели посушить да почистить...

— Делай с ней, что хочешь, хоть и брось, — сказал Гоголь. — Новую мне подавай.

— Момент! — И приказчик скрылся в глубине лавки.

— Никак, господина Гоголя, сочинителя, имеем честь натурально видеть? — послышался со стороны сильный бас.

Гоголь повернулся к смотревшим на него игрокам.

— Его самого.

— Очень рады такому гостю, — сказал тощий и рыжий. — Может, присесть желаете? Вот сюда вот, на стульчик...

— Спасибо, и без того сидеть приходится много. Рад бываешь постоять.

— Справедливо заметить изволили! — сказал толстый и чёрный. — А в нашем деле сидение, это ж наказание сущее. Почитай, половина всей работы. Сказано — сидельцы!

— Мы-то не сидельцы, мы с тобой купцы, — сказал рыжий наставительно. — Сиделец вон Наталии. Только он не сидит, как блоха прыгает.

Появился приказчик с целой охапкой шляп, и Гоголь быстро выбрал себе вполне подходящую.

— Да ты смотри ту, что тебе дадена, никуда не подевай, — сказал рыжий купец приказчику. — В вид её приведи и мне предоставь. Это шляпа особая.

— Да зачем она вам? — засмеялся Гоголь.

— А я, чья она была, обозначу и на вид выставлю, для проходящих. Пусть чувствуют, какие у нас господа бывают. Для дела всё в ход идёт. — Рыжий даже палец с важностью поднял. — Кто, глядь, и завернёт из любопытства да чего и купит.

— Ну, если так... А скажите, ваше степенство, как вы меня узнать могли? — спросил Гоголь.

— Вас, небось, уж полгорода знает, особливо здесь, в рядах. Слухом земля полнится... А мне так и показали прямо, когда вы с нашей губернаторшей в коляске ехали. Вон, сказали, сочинитель Гоголь, что всю подноготную про всех разведывает.

— Так-таки всю?

— Так-таки, — усмехнулся купец добродушно. — Да про нас что и узнавать — там купил, здесь продал, вся и недолга.

— Чтой-то ты, Никанорыч, неладно говоришь, — вмешался толстый купец. — Как так — купил-продал и всё? А забота непроходимая? Я иной раз ночей не сплю, думаю, как бы не прогореть, при своём хотя бы остаться. А товар возить? А люди лихие на пути-дороге? У меня вон смолоду голова проломлена. — Купец тронул пальцами затылок. — Получил гостинец на Кашинском мосту, еле отбились!

— Ну, и не без того, кто ж спорит, — отозвался рыжий. — Счас-то, правда, потише стало...

— Оно и сейчас не мёд. Вон мои ребята в Ромен к хохлам езживали о прошлом годе — хорошо хоть сами живые-целые возвернулись, а про деньги-товар и не спрашивай... Так это в теперешнее время, когда строгость какая-никакая есть, а в стародавнее? Да ежели в иноземные края с товаром ехать? Считаю, как на войну идти, вернешься, нет... Сынок в книжке читал, что наш брат купец, Никитин фамилие, за три моря аж пробрался по тор-

говому делу и всё, как есть, про то записал. Хождение, так и называется. В Индию саму ходил, на край света белого!

— Я купеческое сословие вполне уважаю, — сказал Гоголь. — За крепость в вере, прежде всего.

— Крепче нас и нет, — сказал рыжий важно. — И к службе завсегда без прогула, и посты держим, и дома чин православный блюдем, и детей в страхе Божьем рoстим.

— А кто на храмы первой всего жертвует, на заведения Богоугодные, на вдов, на сирот? — поддержал чёрный азартно. — Опять же купец! А в годла повальные кто народ кормил? Купцы! Золотарев купец под больницу дом свой отдал агромадный и капитал на содержание выделял. В сто тысяч рублём всё обошлось, говорили! А в монастыри сколь жертвуют! Вот хоть бы и Никанорыч...

— Ладно, ладно, — прервал рыжий. — Что одна рука делает, другая знать не должна... А про сословие наше я так скажу, господин Гоголь. Много худого про нас думают — и обвес-де, и обмер, и обсчет... Оно и не без того, конечно, но только честная торговлишка выгодней всего, а жульничать себе дороже. Этого шила в мешке не утаишь, как говорится. Прознают, да и дорогу к тебе забудут, вот и сиди тогда с обмером-обвесом своим. Так-то отцы-деды наши судили, и мы им вслед...

А ведь хороши, подумал Гоголь, горой за звание своё стоят, резоны какие приводят! Дан во втором томе честнейший откупщик, так и не сомневайся, таким его и оставь. Есть честные и среди откупщиков, должны быть...

Он бросил случайный взгляд на шашечную доску с незаконченной партией. Чернявый купец заметил это и смешал шашки пухлой ладонью: не до игры, мол, когда с гостем разговор.

— Давненько я не брал в руки шашек, — невольно вырвалась у Гоголя фраза Чичикова из первого тома “Душ”.

— Так, может, счас и возьмёте? — оживился чернявый. — Большая нам бы честь!

— Уж очень серьёзные вы противники, упражняйтесь много...

— Это есть, — подтвердил рыжий. — Как в лавке пусто, почему и не поиграть. Занятие умственное, голове полезное. Не в карты же резаться, позорничать!

— Уж и позорничать?

— Беспременно так! Где карты, там и грех, а шашки дело чистое. Может, и взаправду сыграете, честь нам окажете?

Гоголь чувствовал в кушцах что-то такое основательное, надёжное, уютное даже, и ему не хотелось с ними расставаться.

— А, была не была! — Он резко сдвинул на затылок новую свою шляпу. — Ставим шашки, ваше степенство!

Первую партию Гоголь выиграл легко и быстро.

— Вот так-так! — одобрительно прогудел чернявый купец. — Дай-ка я, Никанорыч!

— Погодь! — осадил его рыжий. — Это проба была, а вот теперь сыграем по-настоящему.

И вторую партию Гоголь выиграл легко, только подольше она длилась, потому что противник крепко думал над каждым почти ходом.

— Всё, всё, Никанорыч! — загудел чернявый купец, приваливаясь к доске всей грузной своей тушей. — Профукал пару, надо и честь знать!

Он оказался игроком умелым, упорным, но Гоголь с усилием одолел-таки и его.

— Что ж, спасибо и за игру, и за разговор хороший, — сказал он, улыбаясь и вытирая платком взмокшее лицо. — Прибыльной торговли вам и здоровья!

Купцы переглянулись, и рыжий шагнул к двери, словно бы дорогу заступив.

— Ваше высокоблагородие, господин Гоголь! — воскликнул он высоким, просящим тоном. — Сделайте милость, сыграйте с мальцом нашим одним! Сей момент тут будет!

— Что за малец?
 — Приемьш одного купца здешнего, в лавке помогает.
 — Ну, так и что же?
 — А то, что он игрок первеющий у нас, с ним потягайтесь. Просьба к вам убедительная!
 — Просьба, просьба! — подтвердил толстый купец. — А то уж очень обидно нам выходит, как, скажи, проторговались наотделку.
 Гоголь посмотрел на купцов, на часы, подумал и кивнул с улыбкой:
 — Что ж, давайте вашего мальчика!
 Малец выглядел так, что Гоголь и глаза раскрыл. Отрок, а не малец, с чем-то даже иконописным в лице.
 — Как зовут?
 — Николаем...
 — Вон даже как... Что ж, хорошо играешь?
 — Хорошо ли, не знаю, а здешних обыгрываю.
 Гоголь помолчал, засмотревшись на отрока удивительного. Какое лицо тонкое, благородное, какие спокойные, правдивые, светлые глаза, какой голос приятный и тоже спокойный. Как волосы льняные густы и как лежат свободно и красиво! Как строен весь и ладен! И ведь выиграет непременно, подумалось вдруг со странной уверенностью, не может не выиграть...
 — Как же это ты так играть наострился?
 — Сам собою, а может, Бог дал, — тихо ответил Николай и посмотрел так прямо и просто, словно с товарищем разговаривал.
 Гоголю играть уже не хотелось, а хотелось смотреть и смотреть в ясные глаза отрока, голос его приятный слышать. Купцы, однако, уже расставили шашки и нетерпеливо покашливали.
 Гоголь проиграл подряд три партии с какой-то волшебной быстротой. В недоуменном смущении отстранился от доски и встретил взгляд Николая. Глаза его были всё так же спокойны и ясны, и лишь в самой их глубине светилось доброе, чуть смешливое сочувствие.
 Гоголю померещилось вдруг, что этот отрок, пятнадцатилетний примерно, и умнее его, и опытней даже. Он поморщился, прогоняя наваждение, и сказал:
 — Ай да тёзка! Где только сыскали такого?!
 — По сусекам наскребли, — добродушно пробасил чернявый купец.
 Гоголю не хотелось, чтобы отрок уходил. Некое особенное, глубокое спокойствие ощущал он в его присутствии.
 — Ну, а кроме шашек, как?.. — Он замялся.
 — Как живу? — помог Николай. — Обыкновенно. Отцу в лавке помогаю, в училище учусь.
 — И совсем молодец! Что ж, спасибо за игру!
 — Да он сам благодарить должен за такую за честь! — вмешался рыжий купец.
 — Спасибо, — с улыбкой сказал Николай.
 — Иди с Богом, — кивнул ему купец. — Не всё в шашки играть, чай, и дела у тебя есть...
 Когда Николай ушёл, Гоголь вопросительно посмотрел на купцов.
 — Чудной малец, — подтверждающе сказал рыжий. — Небывалый для нас какой-то. Что разумен, что добёр, что обходителен с каждым-всяким. Мухи не обидел, а и его пальцем никто не тронул никогда. Как с неба к нам упал...
 — Ну, почему же с неба?
 — Подкинутый он, мне это всё досконально известно. Его Громов-купец на крыльце нашёл. Ну, а как они с женой бездетные были, то и оставили себе, и усыновили. Начал он расти, оно и видно стало, что особой он какой-то породы-природы, а какой, Бог весть...
 Бог весть, повторил про себя Гоголь. Кто про отрока Христа в Назарете что знал? А этот отрок, может, в мужи великие или в святые свыше предназначен...
 Выйдя из лавки, Гоголь встретил мужика с огромным кулём муки. Он чуть пошатывался, и лицо его было красным от натуги. Тут же и телега с

кирпичом бросилась в глаза. Один мужик стоял в ней и бросал кирпичи второму, который штабельком складывал их на землю. И так ловко, ладно, будто под музыку, им лишь слышную, это у них получалось: бросил, поймал, положил... Вот так и тебе надо, подумал Гоголь, усмехнувшись. И время своё нести, и слова на бумагу укладывать...

Показалась площадь, и навстречу гул негромкий могучей волной пошёл. Почудилось, что само небо зазвучало — мягко, матово. А вот и звон быстрый, веселый, как солнечные блики на воде, раздался, а волны гула всё катили — искристые теперь, радостные, упругие. И так сладко, до боли, было Гоголю перекреститься на купол Троицкого собора, на крест его золотой, на небо вокруг голубое...

* * *

Накануне отъезда отправились на лодке за Оку, чтобы Калугой на закате полюбоваться. Александра Осиповна так расхваливала Гоголю это зрелище, что он согласился не колеблясь. Да и самому хотелось сделать на прощанье что-то особенное, уж очень Калуга за месяц, в ней проведенный, на душу ему легла. Совсем редко такое с ним бывало — куда ни попадёт, всё не то и не то. Кроме, конечно, Рима его любимого. А тут приехал, и в душе будто мягко, приятно щёлкнуло: хорошо! Надо сказать спасибо милой Калуге, да и она вдруг скажет-покажет ему что-нибудь под конец...

Спустились к реке прямо от губернаторского дома, и Гоголь увидел мостки, большую, голубую, свежепокрашенную лодку и двух молодцов в розовых рубахах. Молодцы поклонились дружно, помогли в лодку сесть и ударили в весла. Александра Осиповна, сидевшая рядом с Гоголем на покрытой ковриком лавке, рассмеялась вдруг:

— Описание ваше из второго тома “Душ” вспомнила. Как на лодке катились у Петуха.

— Ну, и что ж в том смешного?

— А то, что многовато у вас гребцов получилось, по-моему. Двенадцать целых! Ну, куда столько, посудите сами! И зачем? Катали-то трёх всего человек.

— Как вам сказать... — Гоголь помолчал озадаченно. — Размах, удал русскую показать хотелось. Там же и песня поется раздольная, как Русь. Понимаете?

— Понимаю, а гребцов все равно много, — продолжала она смеяться. — Половину уволить бы надо.

— А ведь вы правы, пожалуй... — Гоголь махнул рукой решительно. — Выгону-ка я шестерых ваших!

Они расхохотались, друг к другу чуть привалившись, и, ещё досмеиваясь, Гоголь подумал, как же ему грустно, как больно будет расставаться с ней завтра.

Ока на середине показалась Гоголю огромной. И оставленный берег был далек, и тот, к которому плыли, не ближе. А какая громада, какая сила воды шла вокруг лодки с неожиданной стремительностью! Смирной, тихой выделась река, когда на неё со стороны, с высоты смотрел, а вблизи как она напряженно-жива и неудержима! Так это лишь Ока, а какова же Волга, которую увидеть мечтает, а каковы реки сибирские, которых, пожалуй, и не увидит никогда?! Не так ли и с Россией самой: издали смотришь — лежит, раскинувшись в покое на полсвета, внутрь неё попадешь — бурлит, как эта вода окская у бортов... Уже и берег близок, и затончик перед ним зеркально-тихий, и небо в нём отражено так ярко и ясно, что, кажется, будто оно всюду — и вверху, и внизу...

Они долго ходили по запутанным тропинкам вдоль реки, лишь редкими, случайными словами перебрасываясь. Гоголю было грустно, как редко когда бывало, да и Александре Осиповне, наверное, тоже. Поглядывая на неё, он невольно замечал в ней следы увядания женского: подсушенность лица, морщинки, желтизну, проступавшую сквозь всегдашнюю смуглость. И будущее

её представлялось ему, проступало, как из дымки туманной: старение дальнейшее, с нелюбимым мужем жизнь, тоска, одиночество душевное... Хотелось хоть как-то подбодрить её, но чем? Надеждой на жизнь иную, вечную?

— Я в Оптину всё-таки хочу непременно, — сказал он. — В начале осени и поеду. И к вам загляну, разумеется, на денёк.

— Спасибо... А меня с собой в Оптину возьмете?

— Как не взять? И вам это надо, не только мне.

Она повеселела, и именно поэтому он почувствовал, насколько же ей приходится туго. Невелик подарок, обещание визита короткого, а как подействовало...

В конце концов вошли на высокий берег, и Калуга открылась Гоголю во всей красе. Он был настолько поражен, что даже шляпу свою новую снял невольничью.

— Видите, как тут! — воскликнула Александра Осиповна с гордостью. — Сказка настоящая!

— Сказка, да...

— Вон Троицкий собор, смотрите, — показала она размахисто, азартно. — Вон церковь Рождества Христова, а вот здесь, на нашем берегу, Рождества Пресвятой Богородицы. — Вон, вон, сбоку, голубые купола.

— Да, главное самое как подобралось!

Солнце только что ушло за горизонт, и Калуга выступала отчетливо на закатном небе. А внизу лежала в тени Ока, и синеватая, едва заметная дымка вспухала над ней. Гоголю почудилось вдруг, что ничего больше нет на свете, кроме огненно-красного неба, зелёных, голубых, золотых церковных куполов со сверкающими крестами и синеватой дымки, которая приподнимала их вверх...